



ИВАН ШМЕЛЁВ

СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ

СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ

ПУТИ НЕБЕСНЫЕ

Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ш72

Оформление обложки *Владимира Ноздрина*
Серия «Книги для души. Православная библиотека»

*Выпуск произведения без разрешения издательства
считается противоправным и преследуется по закону*

Шмелёв, Иван Сергеевич
Ш72 Солнце мёртвых: Солнце мёртвых. Пути небесные:
сборник / Иван Шмелёв. — Москва: Издательство
АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2022. — 640 с.

ISBN 978-5-17-146593-3

Творчество Ивана Сергеевича Шмелёва, заново открытое в конце 80-х годов XX века, занимает особое место в истории русской литературы. Писатель смотрит на мир сквозь призму глубокой православной веры, его произведения пронизаны психологизмом, а богатство их языка возвращает читателя к лучшим образчикам русской прозы.

В данный сборник вошли два произведения Ивана Шмелёва. Эпопея «Солнце мёртвых» — трагическое повествование о жизни и смерти людей в период голода и братоубийственной Гражданской войны, с болью и яростью описанное очевидцем. Роман «Пути небесные», который писатель посвятил своей жене, рассказывает историю двух людей, бедной девушки Дарьи Королевой и богатого инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера, любовь которых становится как испытанием для них обоих, так и началом их духовного преображения и пути к Богу.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-17-146593-3

© ООО «Издательство АСТ», 2022

СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ



УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжёлую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестящие жиры и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу...

Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они

по залам в одеждах бледных — с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит — я чувю это щемящей болью, — что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни. Уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огорожке помидоры — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела — только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выскивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье — милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кру-

чам: заготавливать к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло — можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запахает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в зашуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-

груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, пованешали на себя тяжелые бусы-грушки — «мари-луиз».

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кагель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» — светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кагель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все — в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кагелем, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст

радостного забвения. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побиты его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливают, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. Давно обобрали ее воры, побиты стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды воночие уккусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна, — и ее захватил павлин.

ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь — ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Так и павлин — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы — соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:

— Не дашь?..

— Не дам. Видишь — ничего нету, Павка.

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распу-
стит:

— Не дашь?!..

Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертит-
ся-потанцует:

— Смотри-ка, какой красивый! Не дашь... И слетит на
пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там
и там покричит-позовет по балкам — пава, может, отклик-
нется! Глядишь — уж опять бродит у своей одинокой дач-
ки. А то пройдет за горку, в Тихую Пристань, к При-
быткам: там дети — чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже
плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки
в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому
доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни
проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

— ...Э-оу-ааа!.. — пустынным криком кричит павлин.

Жалуется? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день — в работе.
Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розо-
вой опушке, выправил горделиво головку — черноглазой
царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает,
что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты
ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво хо-
дит он по балкону, шелковым хвостом возит — пригляды-
вается к утру... И — молнией падает в виноградник.

— Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в ло-
зах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много ис-
клеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно
все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с цар-
ственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хле-
ба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его
камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юрка-
ет-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и про-
падает за своей виллой. Кричит пустынно:

— ...Э-оу-ааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине — все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклевывает дикий чеснок, лук гадючий, — от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит — пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклонуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни!? Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малютки. Ну, веди их туда... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, за-

ведет в самую середину — и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня доволно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но — вымахнет хвостом из пшеницы и попадетя грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

— Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

— Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу — в такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

— А ты их сеиль?!.. Последни зерно из глоти вирьвал! Тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам — вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли — и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей — они хоронились от людей где-то — голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось — и котловина затихла.

ПУСТЫНЯ

А что Тмарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиея через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громыхают ворота. Это Тмарка рогами выдавливает калитку.

— Ку-ддаа?!..

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

— На-ззад!!..

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это!? Это убивает мысли.

Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький, скромный, тихий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины — надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.

Бурей задрало железо — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй,

не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, — выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу — беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешинной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — «Свете тихий»... Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе — и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благодатная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

— Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце...

Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмелы,

.....
ля, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку — улыбку камня...

Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

— Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри — и так, и этак.

Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев — всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшиеся татары:

— Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрелят, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо — Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, — земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения... Одна голубая парча — на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито — все. Иссякло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится — засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она — синь-бель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах — груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок — утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ», ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих — «мерсис»! И уральские камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» — китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей «диагонали», с нафабранными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеклом за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями и шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра — звоном бахчисарайским, — щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вилл в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящейся

поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожилых, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле — у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях — к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? Кому купаться?.. Все — иссякло. В землю ушло — или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на побережной дороге — ковыляет босая, замызанная баба с драной травяной сумкой, — пустая бутылка да три картошки, — с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

— А сказывали — все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин, — гонит с вьючком дровишек, — угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

— Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины — без причала, в ушастом шлыке суконном, в памятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха — пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами — вино ли, кровь ли... И этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой,

глядит-пялит заспанными глазами... — чего такое?.. Присметит — стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

— А-а, едренать...

Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает мордочку и мычит, протяжно — на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли — от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера — все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать — и суп будет. Хорошо чесноку добавить — дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо — обманывать единственное живое, что нам осталось, — птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, — не зерно ли?! — разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

В ВИНОГРАДНОЙ БАЛКЕ

Виноградная балка... Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы — золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно — море. И — виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут — яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая олен-

ка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих — они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только — лозы... рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, — прыгают там голубые сойки. Какое покойное крыто! Откосы, один — тенистый, солнцем еще не взятый; другой — золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад — синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве — синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

— Э-оу-а-ааа...

Нельзя не думать: настезь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах — кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

— Хле-а-ба-ааа... са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу... са-а-мый-са-ааа...

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

— Ах, Воводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке — бьются.

— Са-а-мый-с-а-аааа...

— Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

— Хочу са-а-ла-аааа...

— Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

— А-а... сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: наса-лить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке, и — о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она.. в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у ней какой-то коврик... Каждую ночь дрожит — вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чутье какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, — у Мопассана было... — и высится гордым стальным торчком прозрач-

.....

ная башня Эйфеля?! .. гремит и сейчас: в огнях?! и люди весело и свободно ходят по улицам?!.. Париж... — а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... — а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города — великих! Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных — в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человеческих — пирам веселье, человечесьи кости — игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи — работы северных мастеров, «русский» волос — на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святых угодников — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечесьей крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там — с ...«правами человека»? В Великих Книгах — все ли страницы целы?..

О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны — нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его — нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

— Хле-э-ба-аааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!

— Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходит. Вон — Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это — солнце обманывает, блеском, — еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянет ливни — тогда...

А теперь... — яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится «чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый... как смородина черная — «мускат» черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин — день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... — как это давно было! — у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшего в про-

рыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.

Хлеб насущный!

— С добрым утром!

А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом — восьмилетка, косит глазом. На ней — единственная ее — белая кофточка и красная юбка, с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют — русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули — и поймали:

— Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера целых три прикатило! Это зеленых ловят...

— Все-то знаешь! А кто такие эти — зеленые?

— А которые не сдаются... в лесах по горам хоронятся... я знаю.

Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно: катит автомобиль невидный.

Перескочили на виноградник:

— Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял... А у вас сегодня Тамарка миндаль жевала!..

— Значит, миндальное молоко будет.

Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются — выскивают дали. И глаза светло-синие, как дали.

— У Минца... корову вчера угнали... — говорит Ляля робко.

— Слышал. А Безрукий рыженькую собачку съел?

— Какая к вам-то все прибежала, хвостик букетиком. Поляк... что ему! Они все есть могут. Он и кошку у него заманил! Ей-богу! — спешит сообщить Ляля. — У него клетка есть, с такой гирькой... на ночь привесит конятинки —

хлоп! Слесарь... Мне, говорит, теперь наплевать на голод, кошками премудрую. А что, вкусные кошки?

— Ничего будто. А ты как... ела сегодня?

— Ели... — нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.

— Та-ак... Значит, ели... Верно?

— Вот придет няня... — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. — Давайте я понесу... Листу-то сколько-а!

Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.

— А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят что опять...

Она говорит, как взрослая — всегда серьезна. Пытливая у ней голова: все знает, что делается в округе, в городке, у моря.

— Еще что скажешь?

Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист.

— Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила!.. — косит Ляля на меня взглядом, — не поговорю ли с ней об индюшке, — но я молчу. Поинтересней надо? — А у Вербы-то какое горе!

— А что такое?

Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:

— А как же... этой ночью у них гуся украли!

— Да ну-у?

— Украли, как же... и голоску не подал. Да гляньте воньте... только один гусь гуляет!..

От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит.

— Ох, некому больше, как дядя Андрей... — шепотком говорит она и глядит через балку: за пустырем павлиньим — не видная за горбом Тихая Пристань. — Уж такой-то вредный мужик! Некому, как ему. Слышим ночью — уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть. А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то по ночам, от Бабугана... Так-то шкварочками... да сальцем... ужас!

Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь:

— А что такое случилось... учительница вчера Вербенка отчитывала? Не слыхала?

— Да как же! — оживляется Ляля и опять подбирает руки. — Идет Прибытка, учительница... из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит, в пинсиях... Собаки, — сперва думала... А как пила хрипит! Подошла поближе, глядит... а это Вербенята — озорники хо-о-о-ро-шую грушу пилят! Садовую грушу. Бэру... вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй... «Вы что тут делаете?! Разве можно пилить садовое дерево?!» — как заругалась! Они — ти-кать! Ведь не можно садовое дерево? Сколько уходу было... А стра-ху нет. Уж она их начитывала!..

— Вот что, газетка... Вот тебе маленькая лепешка... поделишься с Володей.

Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге:

— Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачем же... не надо. У нас же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

— Ну, зачем это... — у самих мало... Ну, спасибочко вам... Ба-льшое спасибо! ба-а-льшое... — смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис.

Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, — и вдруг, помчится-помчится! Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку — и слышится придушенный голос: «Володя! Володичка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний белоголовый Володя — благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже... Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой, пестро заплата-ной рубашке, в штанишках — наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих, белых, — кричит звонко-звонко:

— Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!

Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, нетвердо глядят в глаза. Начинают рычать иные.

Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... — пусть до завтра! — это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать!

Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, — хитрый запор голодного времени! — и с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица.

Живы, мои родные! С новым утром!

Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна! Зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве: поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка — бутылочка на ножках:

— ...Пуль-фье... пуль-фье...

Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь, пленкой затягиваешь глазки... И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха, упомяла оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо... А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна... Там когда-то и часы лежали... Вот, есть у меня для тебя немного... Ну? Раз, два... десять... двенадцать зерен! Чего же не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут «дяди», которые любят кушать... и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами, отбирать «излишки»! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня «излишки»... Ну, не будем думать.

Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают мохрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сон кошмарный? В плен к дикарям попался?.. *Они все могут! Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут!* Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили! Не могу осмыслить (или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?!). А для чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот — на одной чашке с ними...

Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, — только она так может:

— Ай-йу-а-ай!..

Дикий, пустынный крик — похожий на крик павлина.

А, налетает ястреб! К осени ястреба лютуют.

Ее крик слышен на версты — и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, — боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все птицы... Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно — и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке Вербенята, визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.

Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отликает на его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за балку, притаивается в чаще.

Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как загибаются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы — стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, как люди людей боятся, — людей ли? — как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы.

Ястребам простится: это *их* хлеб насущный.

Едим лист и дрожим перед ястребами! Крылатых стервятников пугает голосок Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.

ЧТО УБИВАТЬ ХОДЯТ

Кто-то верховой едет... кто такой?..

Подымается из-за бугра к нам, на горку... А, мелкозубый этот!.. Музыкант Шура. Как он себя именует — Шура-Сокол. Какая фамилия-то лихая! А я знаю, что мелкий стервятник это.

Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил Ты стервятника, если Ты сотворил его? Дал ему образ подобия Твоего... И почему он Сокол, когда и не Шура даже?! Покорный конек возит его по горкам — хрипит, а возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят: трудно возить по горкам. Покорен конек российский: повезет и стервятника — под гору повезет и в гору, хоть на Чатырдаг самый, хоть на вихор Демерджи, пока не сдохнет.

Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев? Моей работы?

Как-то, тоже в горячий полдень, нес я мешок с землею. И вот, когда я плелся по камню, и голова моя была камнем — счастье! — вырос, как из земли, на коньке стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы — беленькие, в черненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями:

— Бог труды любит!

Порой и стервятники говорят о Боге!

Вот почему я кроюсь: я слышу, как от стервятника пахнет кровью.

Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он порозовел, округлился, налился даже, а все топцают, у всех глаза провалились и почернели лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый!

Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую называли «Чайка». Поигрывал на ро-

яле. Живут мирные дачники — живут тихо. Спускаются по балкам к морю — купаться. Любуются на горы — как чудесно! Раскланиваются с округой: «Добрый вечер!» И, конечно, исправно платят. Звонкая была «Чайка», молодая дача. И молодые женщины на ней жили — врачи, артистки, — кому необходим летний отдых.

И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивали-пили. Плясали и пели для них артистки. Скушно!

— Подать женщин веселых, поигристей!

Подали себя женщины: врачи, артистки.

— Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!

И вот, когда все, как трава, прибито, раскатывает Шура Сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи — стервятники приглядывают с верхушек! — многие уже... «высланы на север... в Харьков...» — на том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукой... солью... Что значит-то быть хорошим музыкантом!

Что же теперь... за топливом, по балкам?.. Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены чтобы отвесные... хорошо, никого-ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе Виноградной балки... сидеть и думать... О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только о... Ни о чем нельзя думать, не надо думать! Завтра будет все то же. И дальше — то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро — ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы... Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем... Живут дикари, и ничего, счастливы! Ничего-то не знают, ничему не учены. Счастливые: нечего им лишиться! Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, *о той* жизни... которая уже вбита в землю. А новой нету... И не будет. Вернулась давняя жизнь, пещерных предков.

Книги... О них я думаю часто. Войдешь в домик — вон они, в темном углу лежат сиротливой стопкой. Мои «путевые» книги... Смотреть больно. И они уже «высланы» куда-то. И к ним протянулась кровавая лапа.

Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди — зимние дожди с дремуче-черного Бабугана. Покинутые кони по холмам стояли, качались. Белеют теперь их кости. Да, дожди... и в этих дождях приехали туда, в городок, эти, что убивать ходят... Везде: за горами, под горами, у моря — много было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость посланным, показать, как «железная метла» метет чисто, работает без отказа. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях.

Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще: убивали и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто-просто: выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну: сделать человечество счастливым. Для этого надо начинать — с человечьих боен.

И вот — убивали, ночью. Днем... спали. *Они* спали, а другие, в подвалах, ждали... Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых — с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали.

Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел» — тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно.

В это утро ко мне постучали рано. Не *те* ли, что убивать ходят? Нет, пришел человек мирный, хромой архи-

.....

тектор. Он сам боялся. А потому услуживал *тем*, что убивать ходят...

Вот теперь сию я на краю Виноградной балки, вглядываюсь в солнечные горы... Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете?!..

И вот я вспоминаю...

— Вот, пришлось и к вам... — смущенно говорит архитектор и не смотрит. — Ужасная погода... высоко живете... Приказали описывать и отбирать книги... Соберут и пошлют куда-то... Конечно, я понимаю...

Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха.

— Под страхом предания... военного трибунала! «вплоть до расстрела»!!!..

Он смотрит округлившимися, птичьими глазами — а в них ужас.

— Знаю. И швейные машинки, и велосипеды... Но у меня здесь нет библиотеки! У меня только Евангелие и две-три *мои* книги!..

— Я уж и не знаю... нужно!..

Архитектор, человек искусства... Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить, бедняге, и... он доведен до точки!

— Я уж и не знаю... Ну, хоть расписку дайте... вопрос неясный... Напишите, что отвечаете за их сохранность...

— За *мои* книги?! Я... за свою работу?!..

Мы — сумасшедшие?!.. Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему расписку.

Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг «учтенных». И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, словно и Его я предал.

Дожди тогда были... Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли — покинутые кони. Стояли — ждали. И падали. А по одиноким дачкам, ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги... А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный!..

Не надо думать. Какое жгучее солнце!

Выше подымается, напекает. По горам жаровая дымка, начинают синеть и мерцать горы. Двигутся, ожидают. Смотрят. И солнце — плавится и играет в море.

Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, рыжие гряды совсем разделись. Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки. Павлин стоит в тени, у своей дачки, — кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя.

А ты что же, маленькая Торпедка, не пошла со всеми?

Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю: она *уходит*. Я беру ее на руки. Как пушинка! Что же... так лучше. Ну, посмотри на солнце... ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон — горы, синие какие стали! Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое? Это — море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки... Солнце! И в них солнце!.. только совсем другое — холодное и пустое. Это — солнце смерти. Как оловянная пленка — твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты, Торпедка моя, не виновата. Головку клонишь... Счастливая ты, Торпедка, — на добрых руках уходишь! Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто *уходит* во тьме!.. Ни шепота, ни ласки родной руки... Счастливая ты, Торпедка!..

Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка.

Полдень высокий был. Я взял лопату. Ушел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих, выкопал ямку, положил бережно, с тихим словом — прощай, и быстро засыпал ямку.

Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это нимало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей Торпедке, совсем незнайке! Одно вам брошу: убили вы и мою Торпедку! Не поймете. Курите свои сигары.

НЯНИНЫ СКАЗКИ

Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы... Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок — темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться — и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин — райская птица. Серенькие «волчки», пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки...

Как ни старайся — не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то... Плохо начался день сегодня.

— Добрый день, барин!

Насмешка теперь это слово — барин! У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет — мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охалка чубука и палок, которые она набрала дорогой, — все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы, после тяжелой болезни.

Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: ведь она — от народа, и ее слово — от народа.

— Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня... двенадцать тысяч! да и его-то нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облютели!..

Она пытается меня округлившимися от тревоги глазами, но... что тут скажешь?

— Иду-гляжу... сидит у Ялы народ, у пустых возов... убиваются — плачут! Чего такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали... все-то все отняли, кто чего в степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел... И на степи-то, сказывают, голод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо! Тить-ти какие дела пошли... а! Что уж рыбаки наши... вольный прямо народ... а и те заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждать... на весну ей ловиться, эн когда!..

Шура-Сокол объехал горку, нагляделся на горы-море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску — душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы — выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами.

— Налился-то как... через хлещет! По три кружки одного молока дует! Вот ты и погляди-и... И курочки, и яички, и... И откудова что берется! А ты хоть тут подохни!.. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон... Стиркой, бывало, да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь... го-ры! И сала тебе, и барашка, и яички... и красненькие-то, и синенькие, и... А хлеб-то какой был, пу-ух пухом!..

Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то «слова верного». Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, — слова людские. — Ходила в этих вот... в советских садах работать... — полфунта хлеба! да ка-кого! — одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как, говорит, отпечатаем, тогда... А говори-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детьми полфунта? А по садам кто работает, с полбутылки валются... голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки пьяне-ошеньки... Всем, значит, помирать скоро?..

И я говорю ей «слово»:

— Что ж, и помирать придется.

Она даже бросает хворост.

— Да ведь о-бидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили — берись теперь! Я про себя не говорю — детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится... А что я вам скажу... — шепотком говорит нянька и все оглядывается, — комиссара вчерась убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слышал. Продовольственный комиссар наш, на машине ехал... хотел с деньгами на родину тикать. Сичас из лесу выходят с ружьями... отчанные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают которые... Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слаз! Жену с детьми не тронули, отойти велели.

А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сто-рел! Мы, говорят, за народное право, у нас, говорят, до всего досмотр!.. А?!

Она пытается меня жадными глазами, все «верного слова» ждет.

— А сейчас иду по бугорочку, у приставы дачи, лошадь-то зимой пала... гляжу — мальчишки... Чего такое с костями делают? Гляжу... лежат на брюхе, копыто гложут! грызут-урчат. Жуть взяла... чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило — сблевала, простите сказать... да не емши-то... Ну, вот... за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку... а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!

Она машет рукой, забирает палки и уходит — качается, вот-вот споткнется. Не чувствует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы... с кровью! Или чувствует? Я теперь вспоминаю... В ее глазах был тогда неподдельный ужас... Часто говорила она о своем Лене — собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы...

А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, «трудящим», и будут они жить, как господа жили. Наше будет! Слыхала она «верное слово», как орал матрос на митинге:

— Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы... которые убегли — в море потопили! И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется! Так что до-жили! И у всех будут даже автомобили, и все будем жить... в ваннах! Так что не жись, а едрена мать. Так что... все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать!..

Ну, вот. Ступай и бери: виноградники, и сады, и дачи, все — бесхозьяное, все — пустое!

— А ведь забыла! — окликает нянька. — Иван Михайч вам кланяться наказали, зайтить хотели! На базаре попался. Вот уж страсти! Не узнала и не узнала... — рваный, грязный, на ногах тряпки наверхены, еле идет с палкой. Гляжу, — старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется — просит... а грек и говорит: «Господин професхор, пожалуйста вам!» В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Ма-тушки!

Иван Михалыч! А дача-то какая у них была! Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с голоду помирают, ста-аренькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофевна, народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенцию-то мою воробьиный мне паек выписал!» Ведь это как сказал-то! И верно, что вы думаете... дураки-то мы, ничего не разумеем... Какой такой воробьиный? «А по фунту хлеба... на месяц!» Что вы думаете, верно! «Вот и бумажка с печатью всенародной прислана». Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще рублей на месяц, насмех! А хлеб-то нонче... двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. «Над нашей властью смеешься, старый черт?» И всякими словами! Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься! И всех разогнал. Да еще грозился подвалом! Какой народ дерзкий... А какая дача-то была-а...

Ушла, наконец. В Глубокую балку уйти? Рубить, рубить... А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявила, на мои руки смотрит... Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку...

Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки.

...Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлыч, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка... Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка... Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова... Даже и премию ему дали... Была у нас в Питере такая Академия наук... Буржуи, конечно, там всякие сидели, «ученая рухлядь» всякая... Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послу-

шала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая «ученая рухлядь» за Ломоносова-то премию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и... золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто... за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван Михайлыч тоже... совсем облегчился, и остались у него только... ничего не осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее полено! Чего ты испугалась! Ляля-то кричит... У меня спи спокойно, не дрожи... Да, полено. Очень уж он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот на прошение Ивана Михайлыча — прислали ему бумагу, пенсию! По три золотника хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха... да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает... да тебе и назначили?.. Ты чего опять? Мало, что ли?! Три-то золотника?!.. Тебе бы, дурашке, гордиться надо... Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.

Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча — остов. Пройдет шага два — и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекасти-поле. Еще ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю — море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце.

Это — кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки — в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка покойничка на кладбище, — с тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет — не встанет. Приглядывается к ней Вербина собака, Белка: чует.

Умирающие кони... Я хорошо их помню.

Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие... Ломовые и выездные. Верховые и под запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломались в сады, за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали — не возьмут ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй, возьмите! Под ногами — холодный камень да колючка. Над головой — дождь и тучи. Зима наступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!

Я каждый день видел их на холмах — там и там. Они стояли недвижно, мертвые и — живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря — из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, — должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взшел по узкому перешейку и — заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги — сломался. Повел ногами и потянулся...

Если пойти на горку — глядеть на город, увидишь: бегают на солнце кости. Добрый был конь — артиллерийский, рослый.

Лявва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья — не даются. Так и будет стоять пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку — а пока землю долбит.

Некуда глаза спрятать...

По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.

ПРО БАБУ-ЯГУ

Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину — там в ливни шумят потоки. Вид отсюда — на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни — тихий уют на старость. Там — весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и холились милые розы, привитые «собственной рукой». Где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели — профессора, доктора, доценты, — насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие «вы» — камням? кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые «прохождением Венеры через диск солнца», сторонники «витализма и механизма», знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели «мировой тайны»? Продумали вы свои дачки и винограднички! Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашли себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки — махом одним сволокли «рай» на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..

Бежали — зрячие. Под землю ушли — слепые. «Читают» что-то за воблу, табак и полфунта соли — уставшие.

Дачки, дачки... Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, — угнали за горы и... «выслали на Север»... А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила:

— А вот сельдолик, дедя!

— Ну какой это сельдолик! Нет, не сельдолик это, а... шпат!

— Спать... А какой сельдолик, дедя?

— Такой... прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим... Вот и поищи сельдолика... а вот и бычок-шельмец!

Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой... Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любит, синий дымок пускает.

— Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!

— А... донашиваю, голубчики... казначеем когда-то был...

— Чем занимаешься?

— Бычков ловлю... да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста пенсию получаю... вольный теперь казак.

— С Дону казак? За нами!

И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко рваное, и — в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить... Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!

Некуда глаза спрятать...

Вон, под Капелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор капельский, и виноград поспекает раньше — от горячего камня-диорита, и фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..

Вчера ночью пришли туда — рожки в саже. Повернули женщин носами к стенке: не подымайте крику! Только разве Капель услышит... Последнее забрали: умирайте. А на прощанье ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той горкой...

Поторкивает-трещит по лесистым холмам — катит-мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься бу-

дет! Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу: то наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове... С чего бы это? Кружится голова — вот-вот упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.

Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах — дремучее... Погасает солнце, в глазах темнеет... Ночь какая упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная. Это давние, *те* леса. Их корни везде в земле, я их вырубая мукой. О, какие они дремовые, — холодом от них веет, лесным подвалом! Грызть-продираться через них надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам — грохот какой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след замечает... помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит-торкает по лесам, метет. Железной метлой метет.

Гудит в моей голове черное слово — «метлой железной!» Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвил?.. «Помести Крым железной метлой»... Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно... Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза... Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту... Да где же сказка?

Вот она, сказка-явь! Пора, наконец, привыкнуть.

Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее море пало:

«Помести Крым железной метлой! в море!»

Метут.

Катит-валит Баба-Яга по горам, по лесам, по долам — железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?

Это *они*, я знаю.

Спины у *них* — широкие, как плита, шеи — бычачьей толщи; глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати: спины у *них* — узкие, рыбы спины,

шеи — хрящевый жгут, глазки востренькие, с буравчиком, руки — цапки, хлесткой жилки, клещами давят...

Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море. Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-Яга в ступе своей не-сется, пестом погоняет, помелом след замечает... Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя.

Время придет — прочтется.

С ВИЗИТОМ

Опять я слышу шаги... А, какой день сегодня!

Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура... Неужели — доктор?!

Он самый, доктор. Чучело-доктор с мешковиной на шее — вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михайла Васильич — по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюжки — но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне — и нищий! Впрочем, что теперь не возможно?!

Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила чашку, — тот на самом тычке живет, повыше, — а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор.

— А, доктор!..

— Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко... далеко... не слышно...

— А чего слушать?..

— Мне доводится-таки слушать... матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну, и... приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую «словесность». Да, язык наш очень богатый, звуч-

ный... Как у вас тихо! никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно! Горы да море... да небо...

— Есть и у нас звуки и... знаки. Прошу, доктор!

Мы садимся над Виноградной балкой — в дневном са- лоне.

Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое на краю балки? эти чучела человечьи? Не угадаешь, за- морский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бро- дящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за шикарная обувь... от Пиронэ, черт возьми! от по- ставщиков короля английского и президента французско- го, от самого черта в ступе! Туфли на докторе из веревоч- ного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из... кровельного железа!

— Практичная штука, месяц держит. На постолы та- тарские не могу сбиться, а все мои «европейские» сапо- ги и ботинки... тью-тью! Слыхали — все у меня изъ-яли, все «излишки»?.. Как у нас раздевать умеют!, ка-ак у-ме-ют!.. что за народ способный!..

Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта со- ломистого хлеба, паек из врачебного союза.

— Да, кол-ле-ги... Говорят коллеги, что теперь «жизнь — борьба», а практикой я не занимаюсь! А «нетрудящийся да не ест»! И апостола за бока, на потребу если...

Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам — уютность. Лучи- стые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца: был когда-то та- ким Сергей Преподобный, Серафим Саровский... Встреть у монастырских ворот — подашь семитку.

Доктор немного странный. Говорят про него — чудаш- ный. Продал недавно участок миндального сада с хоро- шим домом, выстроил себе новый домик, «из лучинок», а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.

— Ведь деньги скоро ничего не будут стоить! И вот, у него отняли все катушки, все штаны и рубашки — все «излишки». В этом году он похоронил старуху няньку,

сумасшедшего сына Федю и жену — недавно. — Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот, цингой заболела. Последние дни — все равно, думаю, опыт кончен! — купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал... С каким восторгом она котлетку съела! И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.

У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он — *уходит*. Теперь на всем лежит печать *ухода*. И — не страшно.

— А слышали, какой я ей оригинальный гроб справил? — прищурился-усмехнулся доктор. — Помните, в столовой у нас был такой... угольник? оре-хо-вый, мас-сивный? Абрикосовое еще варенье стояло... из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было! Четыре банки *они* этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенья этого не варили, но... *они* тоже хотят варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрия... Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь, по Эйнштейну... Да, о чем это я?.. Вот так память!..

Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу на мысли.

— А, угольник... Наталья Семеновна очень его ценила... приданое ведь ее было! И звали мы его все — «Абрикосовый угольник»! Понимаете вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности... поэзия такая семейная, ей одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает... У нас еще диван был, «Костей» звали... Студент-репетитор на нем спал, Костя. И «Костю» забрали... Забрали у меня, например, портрет отца-генерала... единственное воспоминание! «Генерала забрать!» Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался...

— Так вы про угольник, доктор...

— Да-да... Когда мы еще молодые с ней были... Неужели это было?! Лет тридцать тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, ког-

да зацвел... сон! розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна помню, сказала как-то: «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!» А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном... Да, со стеклянной дверцей, на ключике... Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник?! Трехгранник и проще, и символично: три — едино! Под бока чурочки подложил, чтобы держался, — и совсем удобно! Купить гроб — не осилишь, а напрокат... — теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться!, а там выпрастывают... — нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут... вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или еще-хуже! А тут свое, и даже любимым вареньем пахнет!..

И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.

— Хотели бандаж мой взять! ремни приглянулись... Забыли! А у меня бандаж... по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе, ни... один Грабе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины — и то взяли. «Я, — говорит, — с трудом пошилась!» Швырнули одну: «Ты, — говорят, — раба!» Все гармоньи взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонию... Концертные были, с серебряными ладами... Затряслись даже, как увидали... Гармонь! Тут же и перебирать один принялся... польку...

Штаны на докторе — не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в клетках.

— Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный...

Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.

— Это все пустяки, а вот... все градусники у меня отобрали, и максимальные, и... Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы... Реактивы хотели... — думали, что настойки! Схватили бутылку — спирт!! Да нашатырный! Буржуем обозвали.

— А который теперь час, доктор?

— Де-крет! — пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. — Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!

Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает «излишки».

— Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюль Верна...

Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и смотрит в развилку. Он помахивает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.

— Помните, у Жюль Верна... Сайрус Смит в «Таинственном острове» или Паганель!.. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда *они* не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце... Сейчас... без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту... А вот в туман или вечернее время... по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без четверти десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было — взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не рассказывал?! Необходимо опубликовать Это о-чень важно, в предупреждение человечеству! Чрезвычайно важно!..

— Ну, расскажите, доктор!

МЕМЕНТО МОРИ

Доктор поглядел на меня с укором.

— Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству... история с моей «луковицей»? Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то... не то чтобы роковое, а «амулетное». Как хотите толкуйте, а я говорю серьезно: во всех этих газетах, которые вот «вливают»... «Таймс» или... как там... «Чикаго трибюн», «Тан», понятно... — непременно опубликуйте!

Я уже не смогу, я без пяти минут новопреставленный раб... не божий, не божий, а... человеческий! и даже не человеческий!!.. Да чей же я раб, скажите?! Ну, оставим. А вы... должны опубликовать! Так и опубликуйте: «„Мemento мори“, или „Луковица“ бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила». Это очень удачно будет: «нечеловеческого»! Или лучше: нечеловечьего!

Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно.

— Это случилось лет пятьдесят тому... в тысяча восемьсот... Нет, конечно... ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, «образовательную» поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия! Заманчивая страна свободы, Габеас-Корпус... парламент самый широкий... Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил, ну, конечно, революционная эта фебрис... Ведь без этой «фебрис» вы человек погибший! Да еще в то-то героическое время! Только-только взорвали «Освободителя», блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится со-ци-ализм, с трепетом ждет Европа... температурку-то понимаете?! Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и... «фебрис революционис»! О паспорте правительство попечение имело, а что касается «фебрис»-то этой самой... тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их вождей! Чуть было не сказал — козлов! Но не в обиду вождам, а по русской пословице нашей: «куда козел — туда и стадо»! Разные, конечно, и вожди эти самые бывали... были и такие, что и в России-то никогда не живали... бывали и такие, что... собственную мамашу удавят ради «прямолинейности»-то и «стройности» системы своей-чужой, а ты... дрожи! Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина сто восемьдесят четвертой пробы, и из карманов носовые платки можешь... только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой — и вот тебе авансом билет на свободный вход в царство «высокое и прекрасное». И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадило не без приятного жара!

Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучение поколениям «записок интеллигента Т-ва Мануфактур и К°»?! Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повадилась кляча!..

Да, Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки, под дачкой, выбралась тощая Белка и огляделась.

— Как в трагедии греческой! — усмехнулся доктор. — Разыгрывается под солнцем. А «герои»-то!.. за амфитеатром... — обвел он рукою горы. — То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за «хор» сойти. Ибо мы, хоть и «в действии», но прорицать можем. Финал-то нам виден: смерть! Вы согласны?

— Вполне. Все — обреченные.

— До этого дой-ти надо! Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда... Да, «фебрис» эта... Гебеас, Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоун!.. Странная штука, вы замечаете — все «глаголи!»! Тут, обратите внимание, что-то мистическое и как бы символистическое! Гла-голи! Конечно, и в Англии я глаголил. И «мощи» заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял. И даже в Гайд-Парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает: непременно хулой колыбельку свою — правда, грязенькую, но все-таки колыбельку — обдашь, грязенькие очки наденешь. И конечно: «Да здравствует Революция — с прописной буквы, понятно, из уважения, — и переат полицеа!» И вот, пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей... Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне — Ната и Нэлни, на английский манер. А теперь... на ключике в угольничке абрикосовом!.. Да так и предстанет перед Судиею на Страшный суд! — скрипуче засмеялся доктор. — Вострубит Архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу: «Эй, вставайте, вси умерщвленные, на Инспекторский Смотр!» И восстанут — кто с чем. Из морских глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землею ртами, с вывернутыми руками... из подвалов даже — с пробитыми чере-

пами предстанут на суд и подадут обвинение! А моя-то Наталья Семеновна — на ключике! Да ведь хохот-то какой, грохот подыметя! водевиль! И еще... ах-ха-ха-а!.. с... с абри... косовым... вареньем... в мешковине... из-под картошки в мешочек обряжена!.. ведь все, все забрали у нее, все рубашечки... все платья... все для женского пола своего... все «излишки»! ведь в ее-то платьях... шелковое, зеленое ее помню... Настюшка Баранчик с базара, из «татарской ямки», потом выщегаливала!.. Вот бенефис-то будет! Архангелы-то рты разинут! Сам Господь Саваоф...

Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши:

— Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!..

Белка скакнула через Ляrvу и уюркнула за дачку. Павлин стоял в головах Ляrvы, тряс радужным хвостом-опалом и топтался.

— Смотрите, он ее провожает! — воскликнул доктор. — Вот так апофеоз! Ну, как же не из трагедии?! — Он потер лоб и сморщился. — Как сон какой-то... И что за память дырявая! Сегодня я забыл — «Отче наш»! Три часа вспоминал — не мог! Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом... А теперь... Да о чем же я говорил-то?..

— Пришли покупать часы, доктор...

— Да, часы... Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах... и погода была, как раз для самоубийства: дождишко скверненько так сочился через желтый, гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем — и в полдень! И вдобавок еще липко воняло морской этой слизью рыбьей... Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий эмигрантик русский дорогу нам указал, все кашлял и плевал кровью. Местечко такое... из Диккенса. А в темных лавках, за зелеными шторками с бахромой, все антиквары, антиквары в норах своих, как пауки, в пыли, в паутине, серые, таинственные... пауки глубин жизни... шевелятся там со старьем со всяким, в губу нашептывают... Чего-то там нет только! И все — отшедшее. Секстаны ржавые, пиратские шпаги от флибустьеров и буконьеров, «боги» всякие с островов ма-

лайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человеческих костей печатки царьков диких, скальпы там, амулеты... — пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И «пауки» эти точно отбор в них делают, подчищают: кому еще, пожалуй, и пригодится!

— Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели...

Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Это и есть про часы! Я еще немного соображаю, потому и... про обстановку. Из каких «пеленок»-то я эти часы принял! Вы то возьмите, что все эти лавчонки на чем стоят? чуланчики эти человеческие?! На грабеже и хищении! на слезе, на крови чьей-то, на основном, что в недрах всей «культуры» человечьей лежит: на том, чтобы загадить и растрясать! Ну, что там лавчонки!.. это уж самый последний сорт, на манер лукошка, куда кухарка птичьи кровяные перья сует, себе на подушку... А вы «ма-га-зины»-то обследуйте! где золото и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и души, души опустошенные, человеческие, глаза, истаявшие слезами!.. Ведь всякое «потрясение»-то, на высокополитическом блюде поданное, с речами, со слезой братской, бескорыстной и с «дрожью» этой самой восторженной, в подоплеке-то самой сокровенной, непременно в корешках своих на питательное доньшко упирается, на кулебячку будущую... и всегда обязательно кой для кого «кулебячки» этой и достигает! Ну, после нашего-то «потрясения» сколько лукошек-то этих с курячьими перьями создадут! А «магазины», небось, по всему свету открывались...

Что такое поторкивает-трещит... к морю?.. А, это моторный катер, а может, и «истребитель». Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас; бежит за ним, крутится пенный хвост, на две косы сечется.

— Слышите?.. — шепчет доктор и зажимает уши. — «Истребитель»... За ними это...

— За кем, доктор?..

— Что по амнистии с гор спустились. Не слышали? Теперь их заберут «для амнистии». Что, трещит?.. Не могу выносить... устал.

Я вижу, как «истребитель» под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро, недавно спустившихся с гор, непокорных «зеленых» слышат в своем подвале, что пришел «истребитель»... пришел за ними.

— Теперь не трещит, доктор.

— Завтра, а может и нынче ночью... — значительно говорит доктор, — их «израсходуют»... а их сапоги и френчи, и часики... поступят в круговорот жизни. Их возьмут ночью... Молодую женщину показывали мне сегодня, там ее муж или жених. Теперь и она слышит... Она, представьте, на что-то надеется!

— На пощаду?..

— На что-то надеется... — шепчет доктор. — Что-то может случиться. Поживем до завтра.

— Так вы про часы хотели...

— А, да... Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы: попадают чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести, от какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана... Страсть к экзотическому у меня с детства осталась, от капитана Марриэтта, от Жюль Верна... От какого-нибудь старинного капитана, «морского волка»... выменял он, глядишь, у какого-нибудь царька людоедов, а к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского, которого выкинуло с погибшего корабля... Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Ну, попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский тысячу голов отрубил... за тысячи фунтов купят, найдутся люди! И всякому лестно иметь у себя на стенке, в кабинете, поразить гостя или девицу прекрасную: «А это вот, скажет, — даже с равнодушием в голосе, — меч, которым...» и т. д. Эффект-то какой необыкновенный! Какую карьеру можно сделать! Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши, русские-то, вещички где, может, гуляют, по каким интернациональным карманам проживают!..

Вот и забрели мы в одну такую лавчонку. Эмигрантик тот рекомендовал, за пару шиллингов. И пошептал знаме-

нательно: «Революционер, ирландец, но виду не подавайте, что знаете». За такое приятное сообщение я хромоногую гиду еще шиллинг добавил! Зашли. Вонь, представить себе не можете! Треской тухлой, кроветками, что ли... разлагающейся кровью, такой характерный запах. Ху-же, чем в анатомическом! Хозяин... — как сейчас его вижу. Коренастая обезьяна, зеленоглазая, красно-рыжая, на кистях шишки синие выперло, и они в рыжих волосьях, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и нос... такой-то хрящ, сине-красный! А на голове низколобой тоже шерсть красно-рыжая, клочьями. Как поглядел на него, так и подумал: если все такие революционеры ирландские, дело будет! Самый настоящий «гом-руль»! На конторке у него, смотрю, бутылка с «уиски» и осьминог соленый, небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнет ножичком двусторонним, в волосатой рукоятке с копытцем — может и от готтентота какого, — посолит красной пылью кайенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп, из горлышка прямо.

«А-а, русский! Гуд-дэй! Эмигрант? революционер? Да здравствует республика!» — а сам смеется, осьминога нажевывает.

Ну, конечно, поговорили... и о порядках наших, и про убийство царя-освободителя... А веки у него были вывернуты, и в них кайен и виски.

«Поздравляю, — говорит, — вас с подвигом! Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится! Способный и великодушный, — говорит, — вы народ, и желаю нам еще такого прогресса. Ит-из-вери-уэлл!»

Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на глазах у меня, у дурачка русско-го. Дрожал даже от «чувства народной гордости»! Сказал, помню:

«У нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать, такие люди специальные отбираются, террористы, „люди ужаса беспощадного“! как у себя этот корень-хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом!!!»

Очень это обезьяне понравилось. Зубищи-клыки выставил, кожу спрутову сплюнул и смеется: «Русский экс-

порт, самый лучший! Ит-ис-вэри-уэлл!» И опять друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится! Аллианс-то какой культурный, как именинники! Виски угостил и кусок копченого спрута-осьминога подал на китайской тарелке с золоченым драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой пир антикварно-сакраментальный был... И облюбовал я у него часы-луковицу. Черного золота часы, с зеленью. Говорит: «Обратите внимание, это не простые часы, а самого Гладстоуна! Его лакей продал мне от него подарок. И стоят двадцать пять фунтов!»

Действительно, вырезано под крышкой: «Гладстоун», и замок на горе. А может быть, и сам, мошенник, вырезал. Ирландец был разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрящи эти мне претили, а по разговору и по тому, что он «ирландец», так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знал, что мошенник, а вот... «фебрис»-то эта самая! И что же сказал! «Возьмите, за полвека ручаюсь!»

Но главное-то не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул! И послушайте, что же сказал! Обратите внимание!: «Берите за двадцать два, потому что вы русский, и... *за вами не пропадет!* Своей доблестью... *все вернете!* Еще фунт скину! *Политикой!.. отдадите!* И вот — вспомните мое слово! — эти часы до-хо-дят, когда у вас, в вашей России *Великая Революция* будет!»

Помню, сказал я ему: «Дай-то Бог!»

«До-хо-дят!» — говорит.

И вот — «до-хо-ди-ли!» И вот — отобрал их у меня тоже... ры-жий! и тоже... с хрящеватым носом, да-с! Товарищ Крепс! Студент бывший!! Сам и аттестовался: бывший студент, и даже... — стишками баловался! Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусники не отнимали! И знаете, *куда* эти часы попали?! Не угадаете.

— В музей... «История Ре-во-люции»?!

— Хуже! В... жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса! Да-с! И это так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами — *бывшие* русские интеллигенты, и все

вокруг — только *бывшее*! В Ялте его на днях видали: носит себе и показывает — «Гладстоун»! Получил ордер на двадцать ведер вина из пролетарских подвалов, в вознаграждение себе, да только увезти не может, лошадей нет. Можете у татар проверить, из общественного подвала! За хлопоты-с! за — «Гладстоун»-с! Да ведь этот — младенец! Ему бы часики и винца, с девочками гульнуть. А то... Ну, думал ли когда Великий Гладстоун, что его «луковица»? Мистическое нечто... А его папаша — не Гладстоуна, конечно, — или дядя, или, быть может, брат там... — размахнулся доктор за горы, — оп-тик! и часиками торгует!.. Отлично я такой магазинчик помню на Екатерининской, а может быть и Пушкинской — тоже хорошо! — улице, фамилия врезалась, траурная такая фамилия — Крепс! Уж не ирландская ли фамилия?! Может быть даже — Краб-с! Глубин, так сказать, морских фамилия! И вот, часики мои попадут, быть может, в эту «оптическую лавочку»?! А что?! Очень и очень вероятно! И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр доктор Микстоун, скажем, приедет в страну нашу, «свободную из свободных», и гражданин Крепс, с хрящеватым носом и тоже ры-жий, продаст ему эти часы «с уступочкой», и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну отсталую и рабовладельческую, и они до-хо-дят до «великой революции» в Англии?! А какой-нибудь уже ихний сэр Крепс опять отберет назад?!.. И так далее, и так далее... в круговороте вселенной!

Доктор немного «тово», конечно... Сидит на краю балки, глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет тленьем, он скоро *уйдет*, и тяжело его слушать... но он и не собирается уходить.

Индюшка привела курочек, стоит-ждет.

— Ого, — говорит доктор, захватывая покорную индюшку, — препарат для орнитологического кабинета. — Два фунта! Ну, постойте. Мы теперь все на одной ступеньке, и почему бы не одолжить и вам!? И дети, и вы, и мы... скоро — тю-тю!

Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в куч-

ку, а индюшка, «мать», наблюдает стойко. Когда горошина падает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет.

— Учитесь... вы! вы!! — кричит в пустоту доктор. — А я у вас засиделся... Но... надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза, поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось... Подсчитываю итоги своего о-пыта! И знаете, к чему я пришел?

— К чему вы пришли, доктор? Впрочем, *теперь* это, кажется, не имеет никакого значения...

— Да, конечно. «Нос габегит гумус»! Но... исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить...

— Говорите, доктор.

— Если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь... И озаглавлю так:

«САДЫ МИНДАЛЬНЫЕ»

Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от Чатырдага... Прошло лет сорок. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе, и теперь не смеются. То есть *теперь*... ну, *теперь* скоро и некому будет смеяться... Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем — итоги интеллигенции. *Теперь* будут начинать сызнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих садах... светлых и чистых... Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе, но были миндальные сады, каждую весну цвели, давали радость. А теперь у меня — «сады миндальные», в кавычках, — итоги и опыт жизни!..

Я привык по часам ложиться, а теперь... как я могу без четверти десять? И потому бессонница. И память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается «Отче наш»... Вы представьте только, что все, все забудут, как читается «Отче наш»?! Помойка ведь надви-

гается. И уходят из этой помойки — в ничто!! Досадно. Досадно, что я, как и теперь есть, не имею логического права верить! Ибо, как после такой помойки поверишь, что там есть что-то?! И «там» обанкротилось! Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот, и рык победное воскресение из животного праха в «жизнь вечно-высоко-человеческую», к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, — это значит уже не провалиться, а вовсе не быть! Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру, и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то не к кому! И суда-то не будет, да и не было его никогда! И это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет разлюли-гармонь. Сорвали завесу с «тайны»! Дрессировщики-то, водители-то пусть даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести, а теперь хулиган пришел и сорвал... до срока сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь в школу-то не заманишь. «Отче-то наш» и забыли. И учиться не будут. С привода сорвалось — качай! Кончилась славная поэма.

А знаете... — у меня весь миндаль оборвали! Миндальные мои сады рубят... а вот зимой и все доведут до точки... У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль, пудов восемь оборвали. А было бы на всю зиму.

— Значит, еще хотите жить, доктор?

— Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие: голодом можно весь свет покоить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются *там*, — показал он за горы, перекувыркнув ладонь, — «Психические последствия голодания». Талантливый профессор читает. Сам голодает и — читает. И голодная аудитория набивается дополна! Всем занятно! Ги-по-тезы создаются! Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый, необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный! Как если бы подвальным

.....

смертникам профессор, и он же смертник, о психологии казнимых читать взялся! Науку-то как обогащаем! Да, «Психология казнимых: лабораторное и клиническое исследование на основании изучения свыше миллиона, может быть, свыше двух миллионов, казненных, с применением разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и уровней умственного развития!» Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта! Лабораторного материала — горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция... Но тогда научной постановки не было. И потом, там как-никак, а судили. А тут... — никто не знает, за что! Но каждый в подвале знает, знает! — что вот, еще день или два дня будет слабнуть — ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то, крымских подвалах и по четверке хлеба соломенного не давали, а так... теплую воду ставили — для успокоения нервов?! может быть, ихний профессор присоветовал, для опыта?! — так вот, каждый в подвале знает, что вот и эту или в ту ночь начнет истлевать. Где только? В яме ли тут, в овраге, или в море? И судей своих не видал, нет судей! А потащут немолимо, и — трах! Я даже высчитал: только в одном Крыму, за какие-нибудь три месяца! — человеческого мяса, расстрелянного без суда, без суда! — восемь тысяч вагонов, девять тысяч вагонов! Поездов триста! Десять тысяч тонн свежего человеческого мяса, мо-ло-до-го мяса! Сто двадцать тысяч го-лов! че-ло-ве-ческих!! У меня и количество крови высчитано, на ведра если... сейчас, в книжечке у меня... вот... альбуминный завод бы можно... для экспорта в Европу, если торговля наладится... хотя бы с Англией, например... Вот, считайте...

— Пойдите, доктор... Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи...

— А-а! ... мухи! И у вас мухи? Так это же анемия выражается в зрении... Если разрезать глазное яблоко голодающего животного...

— Чем вы теперь занимаетесь, доктор?..

— Думаю. Все думаю: сколько же материала! И какой вклад в историю... социализма! Странная вещь: теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для жизни

не сделали, ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах всегда только и заботы, что о всечеловеческом счастье, а какая кровавенькая секта! И заметьте: только что начинается, во вкус входит! с земным-то богом! Главное — успокоили человека: от обезьяны — и получай мандат! Всякая вошь дерзай смело и безоглядно. Вот оно, Великое Воскресение... вши! Нет, какова «кривая»-то!? победная-то кривая!? От обезьяны, от крови, от помойки — к высотам, к Богу-Духу... к проникновению космоса чудеснейшим Смыслом и Богом-Слово, и... нисхождение, как с горы на салазках, ко вши, кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей! И кому сие новое Евангелие-то с комментариями преподнесли, картбляш выдали, и кто?! Помните, у Чехова, в «Свадьбе», телеграфист-то Ять, «Ять»-то эта самая, как рассуждает про электричество и про... какие-то два рубля и жилетку? Вот теперь эти самые «яти» и получили свое Евангелие и «хочут свою образованность показать». И от кого получили? От тех же «ятей»! И вот показывают «образованность». Потому-то на эту подлюгу «ять» и поход. Прообраз, конечно, я разумею. Стереть ее, окаянную! мешает! исконную, сла-вян-скую! Всем вошам теперь раздолье, всем — мир целокупно предоставлен: дерзай! Никакой ответственности и ничего не страшно! На Волге десятки миллионов с голодудохнут и трупы пожирают? Не страшно. Впилась вошь в загривок, сосет-питается — разве ей чего страшно?! И все народы, как юный студентик на демонстрации, взирают с любопытством, что из «вшивого» великого дела выйдет. Такой-то опыт — и прерывать! Ведь полтора миллиона прививают к социализму! И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось — выплеснуть. Сеченов, бывало, покойник: «Лука, — кричит, — дай-ка свеженькую лягушечку!» Два миллиончика «лягушечек» искромсали: и груди вырезали, и на плечи «звездочки» сажали, и над ретирадами затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали, и... — махнул доктор, — вот это — о-пыт! А зрители ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал! «Мы, —

говорит, — всегда с людоедами торговали!» А почтенные господа коммонеры, мандата на «вшивость» для себя еще не приявшие, но в душе близкие и к сему, если от сего польза видится, — мудрое слово Джорджево положили на сердце свое и... А-а, не все ли равно теперь! О миллиончике человеческих голов еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человеческой, а вот ошибся на бухгалтерии: за два миллиона пересегнули — и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчика отпустили. Вот это — опыт! Дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровавыми глазками узревшей! И вот...

Доктор развел руками. Да, и вот! Смотрит на нас калек-дачка на пустыре, с дохлой клячей под сенью вонючих «уксусных» деревьев. Глядит-нюхает из-за уголка тощая Белка, ждет. Идет за пустырем дядя Андрей в новом парусиновом костюме — ободрал недавно на дачке Тихая Пристань складные кресла полковничьи и теперь разгуливает без дела, высматривает новую «работу».

— И все это вымрет... — тоном пророка говорит доктор. — И *они* уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится... и Андрей Кривой с машковцевых виноградников... Они уже все обработали, а не чувят... Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача... Когда наступит зима... увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий работающий маляр... когда-то у меня красил... А на берегу красноармейцы избili сумасшедшего Прокофия, сапожника... Ходил по берегу и пел «Боже царя храни!» Избили голодного и больного, своего брата... О-пыт! Я и сам теперь опыт делаю... Сухим горохом питаюсь.

Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину приглядывающейся к нему Жаднухе.

— Этим самым. У меня фунтов десять имеется, в собачьей конуре припрятал, не изъяли «излишки». И вот — по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсем, а челюсти у меня украли при обыске, вынули из стакана, — золотая была пластинка! Покатаю, обмякнет — и проглочу. Ничего, двенадцатый день сегодня. И еще — миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно.

Амигдалин улетучивается, яд-то самый. Тридцать штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь — «от помойки в ничто»! Пульс ускоряется, сердце нарабатывается быстрее, и...

Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе...

— Мы... распадаемся на глазах... и не сознаем! Да вы взгляните, взгляните... Умремте, скорей умремте... ведь ужасно теперь... *теперь!*.. сойти с ума! Ведь тогда мы не сумеем уйти... может не прийти в голову *уйти!* Будем *живыми* лежать в могиле, как теперь Прокофий!..

На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками... Нет, не действует. Почему?

— Доктор, чем бы мне... кур поддержать?

— Ку-ур? Как — под-держать? Зачем — поддержать? Сжарить и съесть! со-жрать! У вас есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс! Надо все сожрать и — *уйти*. Вчера я «опыт» тоже делал... Я собрал и сжег все фотографии и все письма. И — ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так, чья-то праздная мысль и выдумка... Понимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может... Быть может, в действительности ни-ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила?! А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон! Сон-то, как материя, не *суть* ведь?! И мы не *суть*...

Он смотрит неподвижно, как уже не сущий. И улыбается своей мысли.

— Мы теперь можем создать новую философию реальной ирреальности! новую религию «небытия помойного»... когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что бывшее нам кажется сном. Нет, это невыразимо! Да, куры... вы спрашивали... У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны... Я думал было заклать ее, как жертву, и положить с покойницей в шкаф. Но... бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкончику... — последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись, — спрошу:

«Ну, что, Галочка, чувствуешь опыт-то?» А она только головкой повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в комнаты запирал, понятно. И вот — самоубийством закончила!

— Да что вы?!

— Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и... в страшных конвульсиях! Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду... если штук сотню сразу... лучше, конечно, в толченом виде — сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо провести горемыку нашу, — в Па-ри-же жила когда-то! Видела сон прекрасный! А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел! Какой же отсюда вывод? Значит, Баба-Яга завелась...

— Баба-Яга?! Да. Я сам только подумал.

— Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы — последние атомы прозаической, трезвой мысли. Все — в прошлом, и мы уже лишние. А это, — показал он на горы, — это только так кажется.

Такие бывают человечьи разговоры.

Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет — колышется. Навстречу ему — голосок Ляли:

— Михайла Василич в гости!

И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби: последняя горсть гороха.

А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у дохлой Лярвы. У ее головы недвижимой, распластавшись на брюхе, тянется-вьется Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст... Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча... Вот так миленькое «трио»! Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки... Что смотришь? Вот начну

тебя с лапки... что?!. Теперь все можно. Она уснула, так скоро, доверчиво уснула...

Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит дремучее... Погасает солнце. Шумит водопадами в голове... Сорвешься туда, к камням... А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все — сказка. Баба-Яга в горах...

ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО

В Глубокую балку пойти — за топливом?..

Там стены — глубокой чашей, небо там — сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, — во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски — солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке каменная змея — желтобрюх, заслышит шаги — поведет сонным глазом — и завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я — порожденье того же солнца. Такой же нищий. Всегда — один. А вот и она, ящерка-каменка, — вышурхнет, глянет и — обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз — икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремью — жаркое сердце балки. Вот — оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья.

Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.

Пень, иззубренный топором... Я знаю его историю.

Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселю. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставеньками-ушами; павлин, пробирающийся под кедром — к ночи, синий

дымок над кухней — первого ужина... уже ночные, синеею мглою охваченные горы, намекающие душе:

— Отныне... вместе?

Теперь будут они следить за тихой жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие — солнечные и ночные — будут глядеть на нас до светлого конца жизни...

В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья! Это — старый миндаль... обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это... персик? Его донимают ветры... — ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго... Увидишь старого человека, меня-другого... он сядет здесь, — поставит скамейку надо, — и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом...

Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пенёк. Ты валялся под кипарисами, в полутьме, в затишьи. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом — я так был счастлив в тот вечер! Я тебя обнял и выкатил на свет Божий — радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить... как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечером, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет другую, родную, нить... а ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней... Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колючек изрублены на тебе, горы мыслей порублены на тебе, сгорели... Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу — неродившуюся надежду.

Я разглядываю рубцы на пне — по ним ползают муравьи. Постукивают ворота?..

...Татарские кони ржут, постукивают в ворота — будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками, день жаркий-жаркий, обвисли груши в моем саду, персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья! И веранда с колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного — это же не моя веранда... Надо спешить — будет прогулка в горы... Но куда же девались все?! Лошади

давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота... Я хожу и зову, ищу... Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищу и зову в тревоге, пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты... Мои комнаты были проще: ласковые, покойные... Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна... Я хожу и хожу по залам... Где-то тут мои комнаты...

Опять я вижу рубцы на пне, бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вот и сад, и мои деревья... Это же сон мне снился, минутный сон... Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыкает воротами.

Дико кричит павлин — что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может *теперь* случиться?..

Я слышу воющий голос — к морю...

— Ой, люди добры-и-и... гляньте!.. Гляньте же, люди добры-и!..

Это в Профессорском Уголке, внизу.

«Уголок» давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей на завтраки, на обеды: сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело — в пули: много еще цельных голов осталось. Не доносит повечеру трели отдыхающей певицы, трио Чайковского: умолкли певицы, музыканты, раскрасили песни Чайковского, треплются по ларям базарным.

Внизу голоса ревут — там еще обитает кто-то! Берлоги еще остались.

— Ой, люди добры-и-и...

Нет ни людей, ни добрых.

«Золотая роза» розовеет еще стенами. А вот и «Вилла Марина», и «Вилла Анна»... но там теперь обитают совки, мелкие совки-сплюшки, кричат по ночам тоскливо: сплю-у... сплю-у... Спице, не потревожат. Вон шафранного «Линдена» корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек, пожгли кадушки. Старик адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль — на суше, прохаживался с сигарой по балкону

.....

в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых, бесшумных туфлях, просоленный морями, бело-бородый. Променил штормы на сладкий штиль, праздный кортик — на трудовой секатор, каткую палубу — на крепкие, в гравии, дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые — из глициний, сады персика и диканки... Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю: там-то уж совсем тихо. Встал на его «корабль» огромный Коряк — дрогаль, зацепился с семьей, с коровой и ждет упорно: отойдет ему дом — дворец с виноградниками и садами — за великие труды жизни: возил адмирала на таратайке в город! Сторожит пустоту — усадьбу да помаленьку выламывает рамы.

Внизу голоса растут. По балке доходит четко — воющий бабий голос:

— Да лю-ди... добрые!.. да вы ж гляньте!..

— Усе кишки вымотаю с тебе... за мою Рябку!..

Это — Коряка голос, рык сиплый.

— Да вы ж толичко гляньте... лю-ди добрые... хозяина моего забивает!..

— Мя... со мое подай... из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали!.. утрибку, гадюки, лопали... с моей Рябки!..

— Побий мене, Боже... да усю неделю в Ялтах крутил-ся... да вы ж перво дознайте у сосидий... Дядя Степан, да ваша Рябка и близко не достигала! За чога ж вы старого чоловика забиваете?!

Человека забивают? И этот воющий голос — голос человечий? и рык-зык этот?!

— Шку-ру, пес... мя... со мое подай! Шшо твой выблядок у мыльщици ходит... да я сам утрудящий... Буржуев поубивали, теперь своего брата губите!.. Я за свою Рябку... дьявола лютые!..

— Да я... зараз в камытет самый, рылюцивонный... як вы генераловы сундуки ховалы...

— А тебе... шо? ма-ло?! шшо нэ подавылась?! Мало, сука, добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала?! Да я твой камытет этот... одна шайка! Душу вытрясу... мясо мое подай!

— Чога ж вы не заступляетесь... люди добрыи?!

Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.

— У-би... ил... живого чоловика убил... люди божьи!..

— Насмерть убью — не отвечу! У мене дети малыи...

По горкам шевелятся — выползают букашки-люди.

И там, и там. Где-то в норах таились. Все глядят на площадку под Линдена-пансионом с холмов — на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке, прилепилась мазанка: синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся — люди не люди — мошки: двое крутятся на земле; синее пятнышко бегаёт, палкой машет.

С Вербиной горки бегут ребята, орут:

— Под Линденом убивают! Ганька, гляди Тамарку!..

Кричит Ганька:

— Хочу... как убива-ют!..

Выглянули и соседи. Лялин голосок точит:

— Это Степан Коряк, мамочка... в белой рубашке... ногой в живот прямо, мамочка... коленком!..

— Ля-личка, не надо! Боже, какие звери...— взывает старая барыня. — Ради Бога, Ляличка... уходи, не надо... Няня, да что такое?..

— Да что... Глазкова старика Коряк за корову убивает... — доходит из-под горы нянькин голос.

Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть.

— Так и надоть, слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали, всего-всего... Каждый божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось... мало! чужую корову зарезали! Гляди-гляди, как бьет-то! а? Насмерть теперь забьет!

Смотрит, несчастная, и не чувствует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни: кровь крови ищет.

А на театре — хрипу и визгу больше, удары чаще.

— Люди добрые... заступитесь!..

— Печенки вырву!.. ска-жешь, вырод гадючий!.. мясо куды девал!.. мя... со-о?!..

— Эх, сыновья-то в городе... они б ему доказали! Докажут!

— Самый большевик был, как на чужое... а самого тронули... как разорется!

— Зачем... Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води коровы. В покои уж стали ставить, с топором ночуют!

— Вот они, буржуи окаянные... до чего людей довели! Жили все тихо-мирно, на вот... завоевались!

На театре дело идет к развязке. Рык глуше, словно перегрызают горло:

— Ку... ды... мя... со...

— Ой, побегу, мамочка!..

С холмов воют:

— Бей его, Коряк, добивай!..

— Как так — бей?! Доказать сперва надо! Бей... Много вас, бителев!

— Он вон, в Ялтах был столько-то ден, баба его доказала!

— Звери, а не люди... Ляличка, сту-пай! ступай-ступай, нечего тебе слушать...

— Ма-мочка, я хочу...

И доктор, под зонтиком, тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой. Кричит в пространство:

— Трагедия... под горами! Хе-хе!.. Борьба титанов!.. волки грызут друг дружку! Валяйте, друзья мои... валяйте апо-фе-оз культуры! До скорого свиданья...

Уходит доктор к миндальным своим садам — «садам миндальным».

Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка, — ездит уже с рыбаками в море. Кричит в задоре:

— Раз Коряк взялся — шабаш! Прихватил за грудки... да как его оземь... раз! А старик живуч!

— Уйдите, уйдите все! не могу... не могу — не могу... — кричит истерично старая барыня, зажимая уши.

Вскрикнула-всполошила Ляля:

— Ястреб!.. ястреб!.. Айй-ю-уайй!..

Ширококрылый, палево-рыжий ястреб, с белым комком под брюхом, тянет по балке вниз, где Коряк душил коровореза.

— Курочку вашу!!.. вашу!!!.. — отчаянно верещит Ляля, топчет и бьет в ладошки. — Туда... за дубки спустился!.. пух-то, глядите, пух!.. Айй-ю-у-айй!..

Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и суцьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют:

— К дубкам берите! Слетел, проклятый!..

Я вижу над головой — белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрылою хищной тенью уплывает стервятник по балке — к морю.

Я добираюсь до места и нахожу белую курочку — кровь и перья. Вижу оторванную головку, с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по мертвым сережкам признаю Жаднююху. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой солнце... Прощай и ты, маленькое создание, не оставившее следа! Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.

Я беру кровавой комок в перьях. Это не кусок мяса: это наша родная собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби.

И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих... И наложил камень, чтобы не вырыли сабаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка.

— Так лучше бы мне отдали!

Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля — лучше, земля покоит.

Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Идущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схороню в Виноградской балке.

Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком — к небу. Жмутся к ней курочки — теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои... и вам, как и всем кругом, — голод и страх, и смерть. Какой же погост огромный! И сколько солнца! Жарки от света горы, море в синем текучем блеске...

Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли Коряк — не важно. *Теперь* — не важно. Убил... — слово совсем пустое.

Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищущий?.. Все еще не могу не думать? Не могу еще превра-

титься в камень! С детства еще привык отыскивать *Солнце Правды*. Где Ты, *Неведомое*?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и бухгалтерии... С ними ходят подрядчики и дялги. Хочу Безмерного — дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски... ужасом постигаю Зло, облакающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный, звериный зык... Великие мудрецы, где вы?! Туманами поднимаются храмы ваши, в туманах тают... Чистый разум... призрачный мир идей... отсвет метнувшегося человеческого мозга! Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные, породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру. Свершили чудо! Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе! Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили? В Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты... Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью: стоит одно другого.

Скорей бы вечер... Я... Кто такой это — я?! Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами — камень, Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда... Гляди на горы: они в блеске, воздушные. На море... — праздничное оно всегда. Безмолвие за ним, так... — туманность. На что же еще глядеть?..

Там, в городке, подвал... свалены люди там с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых — тоска и смерть. И там те *семеро*, бродившие по горам... Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют — скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход — в могилу. «Истребитель» стоит у пристани, гроб железный. Его красноезвездная команда наелась баранины до отвалу, напилась из подвалов и теперь спит — до ночи. И красный вымпел тоже уснул — до ночи.

Что-то говорил доктор... Что-то случиться может... В небо смотрю я: *может?*

Больно глазам от света.

Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? Какое чудо? К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет. Душно от Черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то?! Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком...

На пустыре, за балкой, возятся возле Лярвы, подсовывают оглобли. Вертятся Вербины собаки, Цыган и Белка.

Кричит от дороги кто-то:

— Прирезать бы, да на ко-клеты!

Это дядя Андрей с исправничьей дачи — Тихая Пристань. Одет по-дачному — в парусинном костюме, в мягкой, господской, шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и — темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки... побуркивает в кустах с такими же. Ходит — подумывает.

Не отвечают на его оклик, над Лярвой возятся.

— Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься! Казанские татары за говядину признают... А нам все чтобы мя-со было! Я вот... невете... реянец! По мне, хоть и не будь его вовсе, ей-Богу! у меня от его... за-пор навсягды, сказать... вовсе для меня вредная пища, яд!..

Не отвечают ему от Лярвы. Он подходит к моей за-граде:

— Гляжу-гляжу на вашу индюшечку... ужахаюсь?! Куда заходит! И, лих ее носит, куренков куда заводит! Какой дурной подшиб палкой — по нонешнему времени... капитал! Вон как у Вербы с гусем... ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки! А я свинку свою на ячменек выменял, да за перекопку татары вина пять ведер... до весны до самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову... Как так я в мае получил за перекопку? Это все Прибытка старая с дурной головы плетет! В мае я за энту... за осеннюю перекопку, а вчера опять получил, за обрезку, очень огромный виноградник! Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила, стерва.. тогда я, сказать, барином ходить буду! А чего я спро-

сильно желаю... про павлина! Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар, татаре богатые по случаю из хвоста позарются... татарки ихняя заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать... не вредное?..

И отходит — в прогулочку. Идет — подумывает.

Павлин... Разве он *мой* еще? На табак если поменять... осталась одна щепотка, а курить надо много... К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь, не поймать. А на табак бы можно — не пшеница.

Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение... богатым. Остались еще богатые? Гляжу — прикидываю... и он глядит на меня, мой «табак». Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первые радостные утра, начинавшиеся криком его на крыше нашего дома, его топотаньем по железу... А без него будет еще чернее...

Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки — солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся-тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком... не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где теперь планы и... философия? Так и все. Чья-то слепая сила. Метет... И... солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет... Придет и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.

ЧУДЕСНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось над Бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри... «Истребитель» приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел — добрый вечер.

Просыпаются там — ночь чуют. Похаживают, в черной коже, по палубе, пощелкивают дельфинов — чешутся у них руки.

Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела... плавится, потухает. А вот уж и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасла. Похмурился Бабуган, глядит сурово, ночной, — придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью... Выстрелы бьют по ней — боятся ли, угрожают...

Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние даю вам отруби. Пришел и павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу — будешь плясать не даром.

Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту.

Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытается меня глазком. Ну да, больше ничего не будет.

Вот он и кончен день, неизвестный день, прожитый для чего-то, — совсем ненужный. Какое швырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды — хоть до утра. Они будут мигать, мигать... Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные, между ними, умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеяно, по мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий! Или все свято там... ни свято и ни грешно, а так — миганье?

Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают-горят, зеленые, голубые, — неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают и огнях, как сор...

Усталые, тихие шаги. Ты это... Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим. Думаем... Не о чем теперь думать. Камни так думают, тысячи лет лежат в неподвижной думе. В ничто уходят — стираются, пропадают.

Видишь — упала звезда, черкнула огневой нитью... Подумала ты, я знаю... но это не может сбыться. Не надо пытаться и звезды: они никогда никому не сказали слова, — те же камни.

— Добрый вечер!.. — доходит из темноты голос.

Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд, через цепляющие кусты шиповника.

Сидим — молчим.

— Сегодня... — начинает она с душьем и замолкает. — Носила няня продать золотую цепочку покойного Василия Семеныча, шесть золотников. Дали шесть фунтов хлеба... Что же делать?..

Молчим. На звезды, на море смотрим. Стрелки струятся — вспыхивают на нем.

— Голова стала мутная, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем перестала спать. Хожу и хожу, как маятник.

За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку.

— Кто там?..

— Я... — слышится робеющий детский голос. — Анюта... мамина дочка...

— Кто — Анюта?.. Ты чья? откуда?..

— Анюта, дочка... мама послала... мама Настя!..

Это, должно быть, снизу, из мазеровской дачи. Там Григорий столяр, Одарюк, дачный сторож. Бывший сторож, теперь — хозяин.

Я подхожу к воротам и признаю девочку лет шести, беловолосую, с белой косичкой-хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед всегда:

— Ба-лин!.. дластвуй!..

Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой и колукает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами.

— Мама послала... дайте... маленький у нас помирает, обкричался... Крупки на кашку дайте... Папа Гриша уехал, повез кровати...

Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все, — на темные массы гор, на черный провал, где город, где только один огонь — красный глаз «истребителя»: один он не спит, зажегся.

Что я могу ей дать?

Она просит позволить — подобрать на земле: может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлых годов... Она и в темноте видит и возьмет — совсем трошки!

Но у меня нет жмыха. Как индюшка, глядит на меня глазком — по ее вздоху чувствую: нет жмыха?! Как и Тамарка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама... мама Настя!

Она уносит горстку крупы в бумажке.

Я стою за воротами, в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под горку, где надоедно торчит желтая днем, не видная теперь мазеровская дача. Там они погибают, пятеро.

Я припоминаю Одарюка, статного, красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел Одарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона — менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили-съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом... ну, еще будет время. Можно доминивать, что осталось, бродят и недорезанные коровы... И принялся Одарюк за рамы, снимал двери, содрал линолеум... Да еще сколько железа будет, какая крыша! А рабочая власть — своя: без хлеба человека не оставит! Того не было и при царской власти.

А ночь идет и идет.

— Вот не могу придумать... — томится старая барыня. — Есть у меня будильник...

А кому нужен теперь будильник! Уснуть — и не просыпаться.

— И еще у меня что есть... Только уж я не знаю... — говорит она нерешительно. — Вот, из горного хрусталя...

Она открывает коробочку и — будто шумит горошком — вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах.

— Чудесное ожерелье... Смотрите, какая роскошь!..

Я перебираю граненые шарики — крупные, мельче, мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах — тянутся на резинке.

— Думаю, его если...

Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное. Чудачка, что за него дадут!?

— Видите... оно для меня о-чень дорого...

Я понимаю: на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны — пропиты кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза-лица, последние улыбки-благословения, нашаренные у сердца... последние слова-ласки втоптаны сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам... — носит его ветрами.

Человеческое младенчество! Пора, наконец, покончить с этими пустяками!..

— Столько было с ним связано... Покойный Василий Семеныч в Париже его купил, на бульваре Дез'Итальян... заплатил триста франков! Тогда это была ужасная для нас сумма! Это сколько будет на наши деньги? Сто двадцать рублей на золото?! Сколько же можно было *тогда* купить хлеба, простого хлеба!..

— Пудов... сто двадцать.

— Ка-ак!.. Этого не может быть...

— Черного хлеба можно было купить... двести пудов, больше.

— Двести... пу-дов! Значит, если нам... по два пуда на месяц... Значит, на... двадцать лет?!

— На восемь лет, — поправляю я.

— Бо-же мой! Здесь... — она прижимает ожерелье к горлу, я не вижу ее лица, — здесь было на восемь лет жизни!.. для детей!! Не может этого быть... это же сумасшествие. Мы потеряли счет... мы все, все потеряли! Такой дешевый был хлеб?! Пе-че-ный хлеб!..

— Да, *печеный* хлеб... — с трудом выговариваю я это странное, забытое слово: печеный! Мы потеряли не *счет*... мы потеряли *жизнь*! Для мертвых все — ни-че-го!

Печеный хлеб... Я вглядываюсь в это странное слово... давно забытое. И вдруг... я вспоминаю! Я слышу, так ослепительно слышу — слышу! — вязкий и пряный дух живых пекарен, вижу и темные, и черные караваны на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанные

на камнях... дурманный аромат ржаного теста... Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы... я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем... напряженные глотки, вбирающие спазмами...

— Тогда рабочий человек имел рубль в день, и больше... Шестьдесят шесть фунтов хлеба... пе-че-ного!! Теперь...

— Ти-ше! Ради Бога...

— На хлебной Волге погибают миллионы от голода... а радио оповещает мир, как все довольны...

— Ради Бога... ти-ше!

Мы молчим. Мигают звезды.

— Триста франков! Оно же удивительной работы... Я так все ясно помню, тот день. Было очень жарко, в июне месяце... сезон в Париже. В «Опера» давали «Гугенотов». У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. В тот день мы отдохали, были в Лувре... На тротуарах... — они широкие в Париже, под полотняными маркизами — кафе, все столики, все столики... наряды, столько всякого народу... иностранцев... Прямо не верится, как будто сон... Кучера в цилиндрах, с длинными бичами. За столиками едят мороженое, буше-зефир, крокеточки... пьют цветное что-то... Столько свету!.. как сон... Господи, как сон... Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная, даже вот сейчас, как пахнет... Белые шляпы, в золотистых кружевах и лентах, такая была мода. И цветы, цветы... целые возки, в корзинах, в грудах, на руках... розы, сирени, лилии... Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем: «Вейе, месье!» Ему совали деньги и говорили: «Мерси, месье!» Скоро сорок лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семеныч уронил в вазочку сигару... как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: «Бон аппети, месье!» И *теперь* там так?! Вижу, как дымится политая мостовая и все налитые следки подков... все блестит, блестит... Потом остановились у витрины... и вот, это... вот это самое, лежало там! Вот это самое. Теперь оно... здесь, здесь?!!

Я перебираю шарики. Холодные, стучат: чок-чок.

— Так мне понравилось... Стою — смотрю. И вот Василий Семеныч говорит: «А, купим!» Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма... А я, как в транс... ну, не могу уйти! «Это принесет мне счастье!» Ну вот, должна купить. Зашли... Шикарно в магазине, все сверкает... какие жемчуга... И хозяин такой изящный, милый... Француз. Сейчас вот вижу: черноглазый, в лиловом галстуке с жемчужиной, волосы курчавятся, чуть с проседью... Типа такого... бон-виван! Они какими-то... сладкими духами душатся, эти бон-виваны... нежным апельсином пахнут. «Кэ вуле ву, мадам?»

Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него — а-ля Наполеон Третий, или кто там еще... забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат — дивно! Повел нас в комнату зеркальную, пустил рожок... Как миллионы бриллиантов, очаровательно-волшебный блеск! И все мне: «О ля-ля, мадам! И всегда деньги, как в банк положите!» Представьте, это был шедевр! последняя работа какого-то старого итальянца... Вот эти, как это называется... да, грани! который гранил сэ фасет... недавно умер! «Такой работы уже не будет, мадам! Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был гранд артист!» И мы купили. Потом смотрели «Гугеноты», я проходила по фойе, и все так на меня глядели... должно быть, принимали за богачку! С ним я не расставалась скоро сорок лет. И вот вчера грек предложил мне за него... Ну, как вы думаете, сколько? Три! три фунта хлеба!

— За человека не дали бы и крошки.

— Вы взгляните, зажгите спичку...

Спичку... Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на трут, дымится, но получить огонь — мученье.

— В нем восемьдесят семь камней, и в каждом больше сорока фасеток! Сколько граней! И вот — три фунта!

Чудачка... Граней! А сколько граней в человеческой душе! Какие ожерелья растерты в прах... и мастера побиты...

— Я просила грека: ну, хоть десять фунтов! Говорит — ешь камушки! Говорю: есть у вас совесть?! «А что такое

совесть? — говорит. — У нас простой коммерческий расчет! это гораздо больше, чем ваша совесть! Нужно везти на Ялту, оттуда пойдет в Америку и в Европу, к настоящим людям, где все на настоящих ногах. А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту?! Это же — на тот свет поехать! Вы думаете — ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через два часа в Ялте, а теперь я через два часа... в балке, если не добыл пропуска! А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял... но об этом надо помолчать! Четыре раза я поехал — три меня ограбил! Вы думаете — некоторые люди не любят бриллиантов и золота?! И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них три дня... три дня жизни! Вот чего стоит моя совесть!»

В море играют звезды. Я смотрю. Направо, за Кастелью — Ялта, сменившая янтарное, виноградное свое имя на... какое! Ялта... солнечная морянка, издевкой пьяного палача — Красноармейск отныне! Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, похабство одураченного раба — швырнули в белые лилии, мазнули чудесный лик! Красноармейск. Злобой неутолимой, гнойным плевком в глаза — тянет от этого слова готтентота.

Новые творцы жизни, откуда вы?! С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! соблазнили Тебя — какими чарами? сподили каким вином?!

Народы гордые! Попустите вы стереть имя отчизны вашей?! Крепись, старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме! Крепким щитом прикройся! Не качайся, Лютеция, корабль пышный! не затони в зашумевшем море человеческого непотребства! Случиться может... И ты, Лондон гордый, крестом и огнем храни Вестминстерское свое аббатство! Придет день туманный — и не узнаешь себя... Много без роду и без креста — жаждут, жаждут... Много рабов готовых. Груды золота по подвалам, и много пустых карманов.

Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно. Но знаю я: течет и течет туда награбленное добро, посягнутое с живых и мертвых. Течет — к морю. В море стекают реки. Течет через сотни рук, подымается на фелуги, на пароходы — плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон... за океаны, на Сан-Франциско... Берегись, старая Европа, скупщица! не растеряй чудесное ожерелье славы! Кто знает?!

И вы, матери и отцы родину защищавших... да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших, и дочерей, насилуемых убийцами, отдающих ласкам за краденые наряды!..

А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакиваете страждущих?.. Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее: душу убили великого народа! Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых.

А она все сидит и томит-стонет:

— Ну, как же быть-то... с детьми-то как?.. Михайла Васильич принес горошку, последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки... опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже... не в себе. Ну, как же? Конечно, я отдам ожерелье... пусть хоть три фунта...

Я не могу сидеть, слушать... Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам, натываюсь на кипарисы, ищу дышать... Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба... Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час — ходить начинают, с лицами в тряпках — в саже, поворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту. Загремят в ворота и крикнут слово, отпирающее все двери:

— Отворяй, с ордером из Отдела!..

А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать...

В ГЛУБОКОЙ БАЛКЕ

В море начинает белеть — в море рассвет виднее, — но горы еще ночные, в долинах — мгла. Намекают по ним беловатые пятна дач. Время идти в Глубокую балку, по халодку, — рубить.

Топор и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень горки. Все — на пороге нового дня и — спит. Невесело просыпаться.

Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа... красный огонь на вымпеле!.. Не ушел еще «истребитель». *Семеро* могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза — в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут, — запоздали? Делают это обычно глухою ночью. Или хотят показать, как встает над родными горами солнце, в последний раз?..

Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? Не погромыхивает с шоссе раннею таратайкой? Или пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка — единственный знак рассвета?..

Нет... Я слышу унылый крик — неумирающий голос с минарета. Стоит над городком белая, тонкая свеча — и только одна она еще посылает измученный привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над морем, над всем, что на них и в них, пребывает Великий Бог, и будет пребывать вечно, и все сущее — Его Воля. Вознесите великому молитву за день грядущий!

Пенится за кормой, и, бросая дугою след, «истребитель» уходит в море. Пошел — на Ялту.

Их было семеро, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не сдавались. По Крыму их были сотни — не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, селезней на утиный «кряк». Их поймали заманкой: объявили — прощение. Они спустились с оружием — своей честью — почерневшие и худые, с тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, пле-

.....

чо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпускали из рук винтовки. Они поглядывали к горам, где камни были для них — родное: из камня выросли их аулы. Пока — им не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах: смотрите — друзья, союзники! покорились! Их кормили бараниной и поили вином — братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали přátельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках... Потом — отобрали оружие: теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали, ночью. Потом... сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море — швырнуть с камнями...

Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост.

Может быть, тут же, на берегу, их жены, матери... или из деревень горных видят черную лодочку на море и не чувят. Радуются прощенью, ждут: власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь — ослепнут. Так ослепла старая татарка, над которою сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у палачей была.

— Теперь можешь везти! — сказали.

И она, счастливая, на горной глухой дороге целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач — да камни. Да старик возница, сосед-татарик, тер кулаком глаза.

— Не плачь, горькая женщина, — сказал он. — Лучше своя земля.

Этих не выдадут.

Я отрываю себя от моря, иду — высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и Глубокая балка — конец мыслям. Теперь — бить крепче по пням дубовым, тысячелетним, в земле увязнувшим...

Здесь стены — чашей, по ним — корявые кусты граба, над головою — небо. Рубить, не думать. А толканутся думы — рвать их по зарослям, разметать, рассыпать. Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки...

Вот — канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы, — кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, — забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, — заросшее прошлое... рядом — старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая совсем, когда набегаёт ветер. Знаки упадка и пустоты и лжи? А где-то вознесшийся чёрный крест, заросший... Вон он, не затеряется: прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает-гудит в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель — в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса: ветром загнуло-выгнуло тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос — о чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю, горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко: в осенний ветер будет гудеть-выть Крест — само естество живое — в опустевшей Глубокой балке. Будет стонать, вопить. А вопросительный знак...

Я ударом срублю знак: он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать! Никаких вопросов! Конец и арфе, и канделябру, и старику... Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков! Пусть пустота — и только.

Я вырубая дубовые «кутюки» — с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили... оба глаза... Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерики, желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки — тихие жильцы балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырках — по знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного «богомола»: в порыжевшей ряске, стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на Крест ли он молится, монах усохший? Или не видит, что на Кресте — бутылка?!

Если бы только это: кусты и камни, в камнях и в норах живущее! Но есть и еще, другое...

Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета, — и все, залившее кровью жизнь, ударяет меня наотмашь. Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутинки...

Живут вещи в Глубокой балке, живут — кричат.

Здесь когда-то — тому три года! — стояли станом оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревьям татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штыками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине — сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни — «Шишман»... Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге. Валялся в пыли, на солнце фабрикант консервов в сюртуке и манишке, с вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок, свистящих дырками на ветру. Одуревшие от вина, мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанта — много стекла кругом! — жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками, спали с девами по кустам...

Славные европейцы, восторженные ценители «дерзаний»!

Охраняемые Законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о «величайшем из опытов» — мировой перекройке жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее от покоя сердце, эти громкие побрякушки — титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата... — кучу гремучих слов, проданных за пятак беспардонно-беспутными строкописцами.

Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно. Ваши громкие имена, меченные счастливым роком,

говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист.

Невысока колокольня ваша: с нее не видно.

Покиньте свои почтенные кабинеты с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами: увидите затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите все, если только хотите видеть! Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские — дворцы, «роллс-ройсы» и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, — добытое дерзаньем, — куда приятней пустых панелей бродяжничества; что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью; что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны — можно нанять штыки.

Пойдите сами!

Но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке столичного Гранд'Отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирно в «известиях» собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лейб-поваром а-ля рюсс, — такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей без имени. И покажут гордому имени волшебную панораму... в рамке!

Нет! Вы дерзните пойти без имени, пойти в недра... И не смотрите через кулак. Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть в яму.

Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане — с берега. Величавое зрелище!

Пусто, глухо в Глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться выше — увидишь белые петли шос-

се на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же — посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта больного юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к столбам, поставили, как бутылку, и расстреляли на приз — за краги. А потом опять пили, жрали баранину и спали по кустам с девками. Пьяными глотками выли «тырционал»...

За кустами граба и дубняка виднеется деревянный шпиль и красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров, бурых и беломордых — Красулек, Полек, томно щурившихся на солнце, с ленцой жующих, когда бойкие бабы руки позванивали играючи по ведрам. Помню мудрую хлопотную, сверкающие бидоны, громыхающие к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню — пузатого мальчугана-трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке — убегающего от кур с ревом, и круглолицую голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу вязкий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!.. благодатное какое солнце!..

Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и усохло море молочное...

Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там — пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и завидуший, курокрад недавний и словоблуд, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к работнице погибавшей фермы и недавившуюся заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети... Пели по ней панихиду бабы, кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду убийцу. Ответили бабам — пулеметом. Ушел от суда вихлястый курокрад Гришка — комиссарить дальше.

Куда ни взгляни — никуда не уйдешь от крови. Она — повсюду. Не она ли выбирается из земли, играет по вино-

градникам? Скоро закрасит все в умирающих по холмам лесах.

Я рублю и рублю... Довольно: полон мешок «кутюков» дубовых, довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору... Солнце залило балку, над головой день полный и жарко-жаркий. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно зудят цикады. Дремлется на жаре...

ИГРА СО СМЕРТЬЮ

— Добрый день!

Я вздрагиваю — лечу как в пропасть. Спал я? Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела: надо нарвать листву, выпустить курочек; надо идти далеко, к татарину, просить ячменю пять фунтов за проданную рубаху...

— Кажется, вы спали... Помогу вам нести.

Стоит под Крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой сололке, в постолах татарских, показывающих пальцы-когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, и через дырья ее виднеются желтые пятна тела. По виду — с пристани оборванец.

Я его давно знаю: собрат, молодой писатель, Борис Шишкин. Он присаживается на камень, и мы молчим.

Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной, стоит-поигрывает — смеется: пожмет за горло и неожиданно выпустит — ну, дыши! Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним: то — вот отнимает жизнь, то — вот неожиданно дарует! И — сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что — не знаю. Но с ним что-то случится... Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и тяжело. Его мечта — он ее не теряет — уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет — где-нибудь на камне, на берегу моря, в заброшенном винограднике, в полнолуние — без огня. Между строк на старых газетах, чернилами из синих каких-то ягод: не достать бумаги, не купить ни за какие деньги.

И теперь, в этой балке, он говорит о том же:

— Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями... и никого чтобы, хоть бессрочно! только бы не мешали писать... Сколько у меня тем! Вы знаете... я хочу о другом писать... о детском, о таком чистом, ясном... а это все так давит!..

Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на сто жизней.

Он был на великой войне солдатом, в пехоте, и на самом опасном — германском фронте. Душою нежный, любовно рассказывавший о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал, и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хоронился днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. В последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был ранен своею пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли как шпиона. Его подвесили, в наказание, на столбу, за скрученные назад руки, ему «щекотали» скребками ребра до обморока и потом его опустили в шахты. В шахтах морили голодом. Он раздулся как от водянки и едва передвигал ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землю. Его засыпало взрывом с десятком пленных. Через трое суток его отрыли — единственного живого: счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с полгода пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на нижнем Днепре, уже при Советской власти, и должен был поступить на службу, — выбрал себе по сердцу — подбирал беспризорных детей-сирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за комиссара и потащили, но проходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного по роте, на германском фронте. Это было, конечно, чудо. Но чего не бывает в жизни! Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке, при коммандатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до подштани-

ков, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо: он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял: «А, черт... его не берет пуля!, моя — возь-мет!» — Взял его за плечо, сдавил крепко и, повторив еще раз, жутко: «Моя... возь-мет... — оттолкнул бешено: — Ступай... к черту!» Он опять поступил на службу — по приказу. Он должен был шарить по дачам и, против воли, совестливый и тихий, он отбирал кровати, столы и стулья, лампы и самовары — для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник, ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам — работать за полфунта хлеба и писать рассказы.

— Теперь я свободен! Совсем уйду из проклятого городишки... не буду ни-чего видеть, слышать... В скалах буду жить. Солнышко, да звезды, да море... У нас там ти-хо! За десять верст отсюда. Пусто под Капелью. Там была дача у дядюшки... дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал, и мы отхлопотали, как трудовое хозяйство... будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чахотке освободили... Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем корову... Заходил к вам на дачу проститься, здесь отыскал...

Он был неописуемо счастлив. Он сидел под «крестом», наклонив голову к коленям, и что-то проглядывал в тетрадке.

— Буду писать повесть... «Радость жизни»! Я так ее чувствую теперь... Только не этой жизни, а... ласковой... я ее представляю себе, как голубое небо...

Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует.

— Там у нас есть древний Хаос, обвал давний... в камнях — ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели, сверху... Там хорошо писать! А вместо стола будет глыба из диорита... На будущий год посею пшеницу. Только бы зиму перебиться! Теперь печем лепешки

.....
из желудей... у нас с прошлого года запасено, но только тошно от них...

Его опухшее желтое лицо — лицо округи — говорит ясно, что голодают. И все-таки он счастлив.

— А лучше бы было, пожалуй, тогда уехать... Европа! Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать, сестренку... Теперь редко буду приходить в город...

Так мы сидим под «крестом», думаем — свое каждый.

— Да!!.. — вскрикивает он вдруг. — Слышали, что случилось?!

— Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться!

— Убежали! сегодня ночью!..

— Они... убежали?! те?!.. Перед глазами круги, шары...

— Все... все убежали... теперь уж там! — показывает он на горы. — Из-под самой «мушки»!

Доктор... провидец доктор! Перед смертью ему открылось?.. или ходили слухи? Но если бы были слухи, не прозевали бы те...

— Произошло это около часу ночи. В два часа их собирались забрать на «истребитель»... везти в Ялту. За ними то и прислали. Ходили слухи, что они стали слабеть от голоду — всего по четвертке хлеба да и не каждый день! а какого хлеба... вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что — неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была!.. Будут теперь аресты, возьмут заложников... Вот как было. Они не собирались бежать первое время, надеялись, что подержат и выпустят. Но когда стали слабеть — решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию! Ну, сошлют... И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор «зеленых», как и они, и главного кого-то, черкеса, кажется... А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда — решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали: испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут бежать. И вот решили бежать этой ночью! Как раз за час до увоза!.. подумайте — какой случай! Составили план и бросили жребий,

кому собою пожертвовать... кому с часовым схватиться. Ведь безоружные! Француз не тянул жребия, отказался бежать. Верил, что его непременно освободят, неизвестно, за что схватили... Француз — и только. Теперь его повезли в Ялту: знал о побеге и не донес! Жребий выпал татарину. Они все — там были и русские, и татары, и чеченцы... они обнялись и поцеловались... простились перед судьбой... Как это... хорошо! Совсем одичали, затравлены... всюду кровь, и... такое братство перед судьбой! Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся... Татарин схватил винтовку... тот на него... они и ринулись! сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались... захватили винтовку... Наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей, и ночь... а им все пути известны. Теперь перевал даст знать! Подпоручик у них лихой!.. Пощады теперь не будет... Все шестеро.

Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже там теперь! Благодатный камень!.. и вы, леса...

— Коммунисты теперь напуганы, опять перевал отрезан. И на машине не сиганешь — обстрел! Все повороты пристреляны. Теперь ночевать бояться, будут налеты с гор. Квартиры известны... понятно, у тех есть связь, а не нащупаешь...

Хоть шестеро жизнь отбили! Я с любовью смотрю на горы, благостные, суровые — покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них — своя. Храбрыми Бог владеет! Могут быть милостивы — недвижимые. Люди на них живут, укроют люди. Последним куском поделаются. Правда у них — своя. Будет продолжаться борьба, за правду, борьба за душу. И днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах... С радостью припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах... Чудо могло случиться!

— Жить интересно все-таки! — восторженно говорит счастливец. — Я хорошо понимаю, что значит — уйти от смерти! Счастье сознательного рождения... так чудесно!

Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хвост, взвалил и мешок с тяжелыми «кутюками». Он переполнен счастьем.

— Я... сво... боден!! Чудесный сегодня день! Какие горы!., вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье... я напишу о них! Какие бывают случаи...

Я его вижу в последний раз! Ни он и никто не знает, что вот случится... Детски-наивное лицо его светится таким счастьем. А где-то плетут петли, и никто не чувствует, какая спасет от смерти, какая его задавит.

Так доходим до домика. Нас встречает павлин тоскливым криком — стоит на воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем.

— Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано... бери только!

И я не чувую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть. Четыре раза, шутя, играла! Сыграет в пятый, наверняка, с издевкой.

ГОЛОС ИЗ-ПОД ГОРЫ

Я сижу на пороге своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной. Не дрогнет паутинка от кедра к кипарису. Я могу часами сидеть, не думать... Колокола в голове и ревы — голодный шум?.. Красные клочья вижу в себе внутренними глазами — содом жизни...

Но вот рождается тонкий и нежный звук... Если схватить его чуткой мыслью, он приведет с собой друга, еще, еще... и в охватывающей дремоте они покроют собой все гулы, и я услышу оркестр... Теперь я знаю музыку снов — не снов, понятны мне «райские голоса» пустынных — небесные инструменты, на которых играют ангелы?..

Поет и поет неведомая гармония...

...П-баааа! ...

Сбил ее в горах выстрел — поймал кого-то? И вот — кровавые клочья... и вот они — действующие сей жизни? стонущие, ревушие...

Белые курочки болью смотрят в мои глаза. Знаю — и в ваших головках шумы, но не уловите тонкий звук, не приведете гармонию. Что вы глядите так? тени стоят за вами?.. Что вы, маленькие друзья мои, вглядываетесь в меня тоскующими глазами? Не надо бояться смерти... За ней истинная гармония! Ты, Жемчужина, не понимаешь, какой и ты чудесный оркестр, — ничтожный, и все же — наичудеснейший! Твой черный зрачок, пуговичка-малютка, — величайшее чудо жизни! В этой лаковой точке огромное солнце ходит... миры бескрайние! И море в твоём глазке, и горы, вон эти, серые, в камне, в дымке... и все на них — и леса, и звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камне... и я, у которого в голове вся жизнь. Все уловишь своим глазком, который скоро уснет, все унесешь в неведомое... А твое перышко — оно уже потускнело, но и оно — какая великая симфония! Великий дал тебе жизнь, и мне... и этому чудаку-муравью. И он же возьмет обратно.

Ах, какой был чудесный оркестр — жизнь наша! Какую играл симфонию! А капельмейстером была — мудрая Жизнь-Хозяйка. Пели свое, чудесное, эти камни, камни домов, дворцов, — как орут теперь дырявыми глотками по дорогам! Железо пело — бежало в морях, в горах... звонило по подойникам, на фермах, славной молочной песенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пели сады, вызванные из дикости, смеялись мириадами сладких глаз. Виноградники набирали грезы, пьянели землей и солнцем... Пузатые бочки дубов ленивых, барабаны будущего оркестра, хранили свои октавы и гром литавр... А корабли, с мигающими глазами, незасыпающими в ночи?! А ливнем лившаяся в железное чрево их золотая и розовая пшеница свое пела, тихую песню тихо родивших ее полей... И звоны ветра, и шелест трав, и неслышная музыка на горах, начинающаяся розовым лучом солнца... — какой вселенский оркестр! И плетущийся старик-нищий, кусок глины и солнца, осколок человеческий, — и он тянул свою песню, доверчиво становился перед чужим порогом... Ему отворяли дверь, и он, чужой и родной, убогая связь людская, засыпал под своим кровом. Ходил по жизни ласковый Кто-то, благостно сеял душевную мудрость в людях...

Или то сон мне снился, и не было звуков чарующего оркестра? Я знаю — не сон это. Все это было в жизни.

Я же ходил и по темным дорогам Севера; и по белым дорогам Юга. Я доверчиво говорил с людьми, и люди доверчиво отвечали мне, и Христос невидимо ходил с нами. Чужие поля были мои поля, и далекая песня незнакомого хутора меня манила. Шаги встречного на глухой дороге были шаги моего товарища по жизни, и не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость родной речи... Правила всем и всеми старая, мудрая Жизнь-Хозяйка!

И вот — сбился оркестр чудесный, спутались его инструменты, — и трубы, и скрипки лопнули... Шум и рев! И не попадись на дороге, не протяни руку — оторвут и руку, и голову, и самый язык из гортани вырвут, и исколют сердце. Это они в голове — шумы-ревы развалившегося оркестра!

Шуршит за изгородью, шипит... будто змеи ползут на садик. Я вижу через шиповник — ползет гора хвороста и дерев, со свежими остриями рубки. Шипит хвостом по камням дороги. Ползет гора хворосту, придавила человека. Останавливается, передыхает — и слышу глухой голос из-под горы:

— Добрый день...

Через редкий шиповник я вижу волосатые ноги, в ссадинах, мотающиеся от слабости.

— Добрый день, Дрозд. Свалите пока, передохните.

— Нет уж... потом и не подынешь...

Это почтальон Дрозд. Почтальон когда-то... Теперь?.. Какие теперь и откуда письма?!

Правда, в первый же день прихода завоеватели объявили «сношения со всем миром». Пришел на горку пьяный Павляк, комиссар-коммунист недавний, бахвалился:

— Установил сношения с Францией... с чем угодно!

Пу-усть попишут, покажут связь... Как мух изловим!..

Не овладел Павляк с величием своей власти: выпрыгнул из окна, разбил череп. И прекратились «сношения». Новый начальник, рыжебородый рассыльный, рычит из-за решетки:

— Че... го-о?.. Никакой заграницы нету! одни контриционеры... мало вам пи-сано? Будя, побаловали...

И вот сложил свою сумку Дрозд и — «занимается по хозяйству».

Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы, с топором, с веревкой, — идет за шоссе, за топливом — на зиму запасает. Я слышу его заботливые шаги перед рассветом. Нарубит сухостоя и слег, навалит на себя гору и ползет-шипит по горам, как чудище, через балки — и вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, окликнет и постоит: дух перевести надо.

Это — праведник в окаянной жизни. Таких в городке немного. Есть они по всей растлевающейся России.

При нем жена, дочка лет трех и наследник, году. Мечтал им дать «постороннее» образование — всестороннее, очевидно, — дочку «пустить по зубному делу», а сына — «на инженера». Теперь... — впору спасти от смерти.

Когда-то разносил почту по пансионам с гордостью:
— Наша должность — культурная миссия! Когда-то покрикивал весело:

— Господину Петрову — целых два! Господину агроному... пишут!

Потом говорил торжественно, в изменившемся ходе жизни:

— Гражданке Ранейской... по прошлогоднему званию — Райнес! Товарищу Окопалову... с соци.. алистическим приветом-с!

Потом — прикончилось.

Он с благоговением относился к европейской политике и европейской жизни.

— Господину профессору Коломенцеву... из... Лондона! Приятно в руках держать, какую бумагу производят! Уж не от самого ли Ллойд-Жоржа?.. Очень почерк решительный!..

Ллойд-Джорджа он считал необыкновенным.

— Вот так... по-ли-тика! Будто и на социализм подводит, а... тонкое отношение! С ним политику делать... не зевать. Прямо... необыкновенный гений!..

И пришло Дрозду испытание: война. Растерянный, задерживался, бывало, он у забора:

— Не по-ни-маю!.. Такой был прогресс образования Европы, и вот... такая некультурная видимость! Опять они

частных пассажиров потопили! Это же невозможно переносить!.. такое озверение инстинктов... Надо всем культурным людям сообразить и принести культурный протест... Иначе... я уж не знаю что! Немыслимо!

Он ходил в глубокой задумчивости, как с горя. За обедом, хлебая борщ, он вдруг задерживал ложку, ужаленный острой мыслью, и с укоризною взглядывал на жену. Его четырехугольное, скуластое лицо с мечтательными, голубиного цвета, глазами, какие встречаются у хохлов, сводило горечью.

— Разве не посолила? — спрашивает жена.

— Так нарушать, принципы, культуры, нравственности! — с укоризной чеканил Дрозд, тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку. — Европа-Европа! Куда ты идешь?! над бездной ходишь!.. Как ниспровергнуто все, аж!..

— Да кушай, Герасим... борщок стынет. Сдалась тебе твоя Европа, какое лихо!.. Ну, шшо тэбэ... гроши тэбэ дають?..

— Гро-ши! Ну, шо ты у полытике домекаешь? А-ааа... Правильно говорит Прокофий: подходят страшные времена из Апокалипса Ивана Богослова... кони усякие, и черные, и белые... и всадники на них огненные, в железе... в же-ле-зе!

— Зачитал голову твой Прокофий, всем голову морочит. Таня сказывала... всех детей на крышу с собой забрал ночевать и топор унес, чудеса ему чудются...

— Чу-де-са... — с укоризной отвечал Дрозд. — Чудеса могут быть. Если куль-ту-ра так... ниспровергает, то обязательно нужны чудеса, и бу-дут! От... крове-ние! А почему — откровение?! От... кро-ви! Если такая кровь, обязательно будут чудеса! Прокофий чу-ет. Говорит как?.. «Не имею права брать за работу деньги, в деньгах кровь. Я тебе сапоги сошью — ты мне... хлебушка душевно принеси!» Вот как надо, если по закону духовному... Это — куль-тура! И вот даже Ллойд Жорж!..

— Сирот и оставит Прокофий твой.

— Сирот должны добрые люди подобрать, с любо-вию! Чего ты так понимаешь? Нужна нравственная мораль! Чем люди живы? Ну?! Что граф Лев Толстой велит... его

вся Европа уважает, как... гения! А в двадцатом веке... и один дикий инстинкт! А-ааа!..

Он очень любит слова: прогресс, культура. Говорит — «прогрес» и «референдум». Он уважал людей образованных и называл себя... прогрессистом. Он не разбирался в партиях: он только хотел — «культуры». И когда налетели большевики и стали хватать по доносам, кого попало, схватили и смиреннейшего Дрозда — «врага народа». То были первые большевики, матросы, дикари, и с ними гимназист из Ялты — командиром. Они посадили Дрозда в сарай, вместе с калекой нотариусом и Иваном Михайлычем, профессором, которому на днях пожаловали пенсию — по фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел Дрозд в сарае, ждал расстрела. Спрашивал «господ»:

— За что?! Политикой не занимался, а только разве про культуру. Скажите речь им... про культуру и мораль! обязательно скажите! просветите темных!..

В сарай совались матросьи головы:

— Что, господа енералы?! Сегодня ночью рыб кормить будете господским мясом...

— Хорошо, братцы... Один Господь Бог и в смерти и в животе волен, а ты только Его орудие... помни и не гордись! Может, для твоего вразумления так дано... каяться потом будешь! Ну, ладно, все едино... Ну, мы пусть генералы... хорошо... — покивал им Иван Михайлыч, — хотя ты, друг мой глупый, правой руки от левой не отличишь, а в политику полез. Тебе бы, дурачку, на корабле плавать да с немцами воевать, Россию нашу оборонять, а ты вон винцо потягиваешь чужое да охальничаешь! А зачем вот трудового человека, почтальона, убить хотите? У него детки малые на руках мозоли... Креста на вас нету!..

— А не твоего ума дело, старый черт... разговорился! Ужо с рыбами поговори, дворянская кость! по праздникам кладешь в горсть, по будням размазываешь?..

Не стерпел Иван Михайлыч обиды, схватил через дверь костлявой рукой матроса за синий воротник, — обомлел даже матрос от такой дерзости, крикнул только:

— Пу... сти... по-рвешь, черт!.. чего сдурел?..